

Анатолий Агарков

Самои

Сборник рассказов
и повестей

Анатолий Агарков

**Самой. Сборник
рассказов и повестей**

«Издательские решения»

Агарков А.

Самой. Сборник рассказов и повестей / А. Агарков —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-501413-9

О делах давно минувших дней. Пусть живут в памяти вечно наши предки. Мы будем помнить, как они жили, как отчаянно дрались за своду, как неистово любили своих жен и женщин.

ISBN 978-5-00-501413-9

© Агарков А.
© Издательские решения

Содержание

Самой	6
О чём молчала станица	8
Соколовская пасха	20
Краснёнок	28
Колчаковщина	34
Дезертир	39
Несмышлёнка	47
Два атамана	53
Голод	59
Свадьба	66
Волки	71
Весенний гул	81
Страшное слово	85
Чёртово колесо	92
Уполномоченный	98
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Самой

Сборник рассказов и повестей

Анатолий Агарков

© Анатолий Агарков, 2019

ISBN 978-5-0050-1413-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Самой

*Людей терзает необъятность вечности.
И потому мы задаёмся вопросом:
услышат ли потомки о наших деяниях,
будут ли помнить наши имена, когда мы уйдём,
и захотят ли знать, какими мы были,
как храбро мы сражались,
как неистово мы любили.
(Д. Бениофф)*

Мало солнце, но хватает его на весь раскинувшийся под ним край. И от него колеблется маревом горизонт. Слепящий блеск играет в зеркалах бесчисленных озёр. Чуть приметными морщинами рождаются под ветром волны и, разгоняясь на просторе, набирают мощь, вскипают пенной гривой, без усталости моют прибрежные пески и раскачивают камыши. Рыба, дичь кишмя кишит.

Меж озёр громоздятся горы, замшелые, до самой макушки заросшие шиповником, акацией, сосной и берёзой. В густых лесах, в горных распадках, в низинах и долинах, в степях и поймах рек – всякой птицы, всякого зверья можно встретить.

В утробе седых громад, размытых, разрушенных, навороченных – и железо, и медь, и золото, и ртуть, и свинец, и графит, и цемент, и чего только нет, а уголь чёрным глянцем выступает по всем трещинам, залегает могучими пластами. Под мохнатыми корнями вывороченной бурей вековой сосны вдруг тонко заиграют радугой искристые самоцветы.

От гор, от лесных озёр потянулись на юг степи, потянулись и потеряли границы и пределы. Когда плужный лемех режет в широком поле борозду, отваливается такая мягкая земля, что не земля, а пух, хоть подушки набивай. Но иной раз вывернется со скрежетом проржавевший железняк или скругленный некогда речными струями булыжник.

Какую удивительно родящую силу таит в себе эта земля! Вспахешь стерню или целину, былинки не оставишь от буйного царства зелени – глядь, после дождя побег пошел, глядь – и затянулась чёрная рана.

После долгой зимы, заслезится под лучами снег, сойдёт, прольют дожди, напьётся жадная земля, а потом начнётся радующая глаз и сердце безумная борьба за жизнь всего живого.

Кто же хозяева этого чудесного края?

Мордва, чуваша, башкиры живут здесь с незапамятных времён.

А вслед за Ермаком Тимофеичем пришли и расселились по берегам рек и озёр донские казаки. Диким и страшным тогда казался край. Трескучими морозами, слепящими метелями пугал Седой Урал. Повылазили из болот, из камышей скрюченные, пожелтевшие лихорадки, впились в донцов, не щадили ни старого, ни малого, много сгубили народу. В кривые сабли и меткие стрелы приняли пришельцев инородцы. Плакали казаки, вспоминая родной Дон, и день, и ночь бились с болезнями, «татарвой», с дикой землёй – нечем было поднять её вековых, нетронутых человеком залежей. И выстояли, выжили, подняли землю, развели скот, обустроили станицы.

В пору царствования Екатерины Великой безвестный на Урале петербургский сановник граф Николай Мордвинов выиграл в карты деревеньку без земли в Курской губернии, а другую выменял на борзых, и пригнал крепостных в эти места. Первые поселения крестьян на Южном Урале так и назывались в честь барина-благодетеля – Николаевка да Мордвиновка. Повторилась вновь трагедия первопроходцев – и нужда, и голод, и стычки с инородцами. Но выжили «куряки» и прижились на Южном Урале – распахали целину, понастроили деревень да хуторов с церквями, школами.

После отмены крепостного права новая волна переселенцев хлынула на Урал из-за Волги. Потянулись гонимые нуждой из Рязанской, Тамбовской, Вятской губерний, из Украины. Потянулись голь и беднота с убогим скарбом, голодными детишками, расселились по деревням и станицам и щёлкали, как голодные волки, зубами на пустующие земли, которые нечем было поднять. И стали батраками переселенцы у казаков, зажиточных «куряков», которые всячески теснили их, драли по две шкуры за каждую пядь освоенной земли и с глубоким презрением называли «калдыками». А вчерашние крепостные, упорные, как железо, без своей земли, поневоле бросающиеся на всякие ремёсла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к свободной и сытой жизни, платили богатеям тою же монетой – «куркули», «челдоны».

Прекрасный край, трудолюбивый народ, пропитанный, как горькой жёлчью, едкой злобой, ненавистью и презрением друг к другу.

Отчего это с хриплыми криками бегают по улицам николаевские мужики, растеряв шапки? Бегают взад и вперёд, раскидывая лаптями и валенками сыпучий снег, и рёв сотен глоток сотрясает хмурое небо. Праздник что ли? А пятисотпудовый церковный колокол, надрываясь, мечет тревожный набат по округе.

Что-то произошло в далёком Петербурге, и вот уже в Москве идут бои. Никто толком не знает – кто с кем и за что дерётся. Одно только врезалось в сердце, и было понятным:

– Долой царя-кровопийцу!

Всколыхнулась Николаевка, прогнали управляющего и взяли власть в свои руки. Не было тогда у далёкого царя силы побороть эту стихию. Но поползли по станицам слухи, что «калдыки» с «куряками» сговорились землю у казаков отнять. И потемнели станичники, стали враждебно коситься на разгулявшееся крестьянство.

Не потечь реке вспять, не бывать мужикам над вольным казачеством. Ворвались в бунтующую Николаевку пластуны из соседней станицы Кичигинской и мигом усмирили безоружных крестьян. Много их тогда было отправлено в Троицк для вразумления, многих посекали кнутами принародно на деревенской площади. До сей поры таится обида в крови николаевских, теперь уже красносельских стариков на соседей кичигинцев. «Всех казаков перебьём, – говорили их деды, мечтая о светлых, грядущих днях, – самой останемся». И за говор свой русский: курский, рязанский, тамбовский получили от казаков ещё одну презрительную кличку – «самой».

О чём молчала станица

*...бывают моменты в истории,
когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное
дело необходима во имя дальнейшего воспитания
этих масс и подготовки их к следующей борьбе.
(В. Ленин)*

Морозно в степи. В перелесках будто деревья греют, а на юру – совсем пропасть.

Возницы наглухо укутаны в бараньи лохматые тулупы. Седоки на пяти санях жмутся друг к другу, зарываются в сено, прикрываясь сверху дерюжками. На последних – четверо.

– Лопатин, озяб? – ткнулся к нему в самое лицо заочневший Бондарев.

– Замёрз... аж до самых кишок! – прохрипел уныло Лопатин. – Приедем-то скоро али нет?

– Кто его знает, спросить надо приятеля-то. Эй, друг, – ткнул он в рыжую овчинную тушу, – жилье-то, скоро ли будет?

– Примёрзли?

– Холодно, брат. Село-то, скоро ли, спрашиваю?

– Станица, – поправил возница и сказал: – Вёрст семь надо быть, а то и двенадцать.

– Так делом-то сколько же?

– А столько же! – буркнул возница, тряхнув вожжами.

– Как ты станицу-то называл?

– Кичигинская будет...

Мужик деловито и строго скосил глаза на седоков, на торчащие из сена приклады винтовок, помолчал минуту и сообщил:

– Ничего, можно сказать, не останется – бор проедем, к ужину в Кичигинской, а в Увельскую с утра надо ехать.

– А сам ты как, из Николаевки? – выщупывал Бондарев.

– Из неё, откуда же ещё-то быть?

В тоне возницы послышалась словно обида: какого, дескать, рожна пустое брехать – раз в Николаевке снаряжали сани в обоз, известно, и владельцы их оттуда.

– Ну, отчего же, дядя? Может и кичигинский ты? – возразил было Бондарев.

– Держи туже – кичигинский...

И возница как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожжами.

– Чтой-то, дядя, у тебя лошадки заморенные, а как с хлебом вертаться будем, до железки дотянут ли? – подначивал неугомонный Бондарев.

– Это у меня-то заморенные? – вдруг обиделся возница и молодецки вскинул вожжами, с гиком пустил коней целиком, обгоняя растянувшийся обоз, только снег завихрил, запушил в лицо. – Эй вы, черти! Н-но, родимые!.. Эге-гей! Нно-о!.. Соколики!

Мужика не узнать. Словно на скачках распалился он в заснеженном поле. И когда поутолив обиду, удержал разгорячившихся лошадок, повернул голову в высоком вороте, глухо заметил:

– Вот те и морёные.

– Лихо, брат, лихо, – порадовались его седоки.

Трофимову захотелось разузнать, как тут дела с Советами – крепки ли они, успешно ли работают.

– А чего ему не работать, известно.... Вот у казаков, там другое.

– У казаков? – и Лопатин на живое слово о политике кинулся, как кошка на сырое мясо.
– Так, а что же, раньше в старшинах да сотниках ходили, а теперь в Советах сидять те же богатеи. Никаких перемен нету. Мы же с ними с девятьсот пятого не в ладах.

Ты сам-то бунтовал? – выпростался из-под кошмы самый молоденький член отряда семнадцатилетний Гриша Богер.

– А как же, в ту пору все поднялись – и стар, и мал. Цельный месяц царя не признавали, да казачье же нас потом и придавило.

Гриша, распахнув ворот гимназической шинели, сидел сбоку от облучка. Возница, обернувшись, отчётливо видел его раздумывавшееся лицо и белую как у девушки, шею, его, немного наивный и простой, любопытный взгляд, прислушивался сквозь скрип полозьев к его ломающемуся голосу. Богер ему нравился.

– А что ж, дядя, за народ ваш такой, николаевский, откуда?

– Так, курские мы, откуда ж ещё. Ишо при Катьке нас сюда пригнали. Супротив царя наш брат пошёл, батрак да победнее которые. Казаки ж врагами были.

– Что ж, восстание у вас было? – встрял Лопухин.

– Да было, конечно. Филя Коссаковский да Иван Долган коноводили, а мы за ними. Всех казачье похватило и угнало в каторги.

– А ты там был?

Возница угрюмо отмолчался, зло хлестнул коней.

Гриша Богер влез с вопросом:

– А ты в Кичигинской бывал, дядя?

– Бывал, а как же...

Уже в виду стоящего стеной векового бора мужики-возницы запосматривали косо на чёрные сочные облака, дымившиеся по омрачённому небу.

Ветер задул резкий и неопределённый – он рвал без направления, со всех сторон, словно атаковал невидимого врага, кидался на него с яростью цепного пса. И как пёс, отшвыриваемый пинком, гневно судорожно завывал и снова бросался на непрошенных гостей. По земле кружились, мчались и вертелись снежные вихрастые воронки, пути забило, наглухо запорошило снегом. И стонал вековой бор.

Обоз с трудом пробивался просекой. Всё настойчивее, всё крепче и резче ударял по бокам стервенеющий ветер, всё чернее небо, круче и быстрее взвивались снежные хлопья, проникали во все щели, слепили глаза. Как в норы кроты, глубоко в тулупы зарылись возницы. Запорошило в санях седоков. От встречного ветра заходится дыхание лошадей, седым инеем запушило их морды, ноги и бока.

Долго ехали и словно заманивали за собою в бор бешеный степной буран, который и здесь разгулялся, будто буйный мужик в хмельном пиру – всё, мол, моё и что поломаю, за то ответ не держу!

Сумрачно, грозно, пугливо было в стонущем лесу – того и гляди лесиной придавит. Такого бурана, матерились возницы, не видали много лет. Не иначе, говорили, Бог наслал его за недобрые людские помыслы.

Въехали в Кичигинскую – большую просторную станицу с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима обернёт в берлогу – засыплет, закроет, снегами заметёт. А большому селу зимой только и покрасоваться.

Николаевские возницы поддали ходу и мчали для форсу на лёгкой рыси. Подкатили к Совету. Он, по общему правилу, на главной площади, в доме бывшего станичного Правления. Снежными комьями вывалились из саней, ступали робко на занемевшие ноги, по ступеням поднялись в помещение.

Совет как Совет – просторный, нескладный, неприютный, грязный и скучный. В городских учреждениях об эту пору никого уже не застанешь, а тут гляди-ка, что народу напозло,

управившись с хозяйством, и метель нипочём. Притулившись к коричневой сальной стене, вертят сигарки, махорят, провонивают и без того несносный кислый воздух, жмутся по окнам, выцарапывают разное на обледенелых стёклах, похлопывают себя по бокам, войдя с мороза, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами. Видно, что многие, большинство, может быть все – толпятся без дела: некуда деться, нечего делать – так и сошлись.

Увидев вошедших, повернулись дружно в их сторону, осмотрели, высказали разные соображения насчёт мороза, усталости, цели и причин, заставивших маяться людей в такую круговерть. Всё это крутым солёным мужским словом.

– Здорово, товарищи, – обратился командир отряда Фёдоров, задержавшийся чего-то на крыльце и входивший теперь последним.

– Здрав будь, – промычало несколько голосов.

– Председателя бы повидать.

– А вот сюда, – и указали на дверь в загородке.

Фёдоров прошёл.

Лопатин подвинул бесцеремонно сидевшего на подоконнике казачка в рваном засаленном тулупчике, закурил папиросу, молча дал закурить и тому.

Бочкарёв уже вклинился в толпу и вёл разговор, расспрашивал, сколько живёт в станице народу, как дела разные идут, довольны ли Советской властью – словом, с места в карьер.

Из загородки вышли трое, остановились, привлекая внимание.

Фёдоров спросил:

– Что ж, председатель, больше никого не покличешь?

Степенный станичный председатель Парфёнов откашлялся в кулак, заворачивая седеющую бороду, и сказал:

– Нет... никого. Потому, стало быть, что поздно и погода несуразная. Завтрева увидите.

И нахмутив брови, всё глядел на пол, на свои пимы, изредка украдкой посматривая на приезжих, словно пересчитывая.

– Ну, ладно, – бодро сказал Фёдоров, – тогда приступим, Мы, товарищи, рабочие из Челябинска, по нужде нашей крайней к вам.. Впрочем, чего там... Читай.

Он кивнул писарю и отшатнулся назад.

Станичный писарь, а по-новому секретарь Совета, чахоточный человек с узким лицом и какими-то невидящими людей глазами, читал по бумажке, но из-за разговоров, кашлянья, шарканья о пол множества ног и выюжного завывания за стеной и в печной трубе принуждён был бесконечно повторять прочитанное. Отчаявшись быть услышанным, он иногда, не глядя, разговаривал с председателем. Тот имел свойственный ему затаённо-угрюмый вид, держал шапку в руке, махал иногда ею на толпу, всё никак не смолкающую, и сердился:

– В хлеву что ль топчитесь? Слова сказать нельзя.

– Ты внятно объясняй, что к чему.

– Казаки! Господа! Тьфу, чёрт! Тише! – придушённо выкрикивал писарь и, кашляя, любопытно заглядывал в бумагу, как будто бы и не он её писал.

– Не булгачьте народ! – кричал кто-то.

Писарь снова читал, напрягая голос, добрался, наконец, до сути, и бессвязные, отрывочные фразы, долетавшие до сознания, как комья земли с лопаты, задавили шум, будто погребли покойника.

– ... мы, нижеподписавшиеся жители станицы Кичигинской сим постановляем... добровольно и безвозмездно... пудов хлеба... семьям рабочих... голодающим детям... Совета Парфёнов.

– Нда-а... Вот вить чё... Ну, дела... – шёпот как стон прошелестел над толпой.

Потемнели казаки, потупились, страхась поднять глаза друг на друга, на приезжих, и настойчиво ловили взгляд председателя.

Парфёнов боялся взрыва возмущения да ещё в присутствии двух десятков вооруженных рабочих.

– Вы, казаки, вот что, – сказал он рассудительно, – разберите-ка гостей по избам, накормите, расспросите... Тамо-тко, может, до чего и договоритесь. А утром все здесь соберёмся, будем решать... Ну, давай, давай, шевели мозгами.

И вопросительно взглянул на Фёдорова. Тот одобритительно кивнул и повёл своих к оставшимся под бураном саням.

Изба, куда подкатили Бондарев и его товарищи, стояла чуть ли не на краю станицы. Позади неё – сараи, хлев, огород до самого бора, сбоку – маленький садик.

Хозяин унял собаку и потянулся было отворять ворота для саней, но николаевский возница, высадив седоков, гостевать отказался.

– Я тут неподалёку буду. К куму заверну, – сказал он, прощаясь, и повернул коней на дорогу.

В окно заглядывала тёмная ночь, шурша ветром и стуча снежной крупой. Ребятишки спали. Хозяйка возилась около печи, ставя тесто, бросая быстрые испуганные взгляды на мужчин, расположившихся за столом, и на их винтовки, составленные у порога. Хозяин сел под образами и всё молчал, покашливая в кулак. На столе – хлеб, молоко, холодная каша. Самовар на лавке упёрся трубою в окно. Хозяйка приподняла крышку – в лицо вырвался бунтующий пар – подняла тяжёлое, горячо дымящееся полотенце, выбрала яйца, разложила на тарелке, и они кругло забелели в полумраке избы.

Приезжие ели, обжигаясь, пили чай. Бондарёв, точно выполняя приказ командира, повёл разъяснительную беседу. Рассказывал о трудностях Советской власти, о положении на фронтах, о голоде рабочих в Челябине, которым надо помочь.

Он говорил и с его рассказом точно кто-то страшный вошёл в горницу. У казачки дрожали руки, и она тыкалась возле печки без толку, брала то кочергу, то чугунок, то без надобности поднимала полотенце и заглядывала на тёплое пузырившееся тесто.

– Ах ты, господи, кабы ребятки не проснулись, – шептала она.

А приезжие всё говорили и говорили, перебивая друг друга. Хозяйка ничего не понимала, о чём ведётся речь, без толку возясь с посудой, и схватывала только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что городские сейчас скажут: «Бабу повесить за полати, а ребят – о печку головой...» И хотя они этого не говорили и, она знала, не скажут, руки у неё ходуном ходили.

Муж, когда они к нему обращались: «Не так ли, товарищ?» – отвечал хрипло, потупившись:

– Не знаю... Можа быть...

Он робел перед ними, и это наводило на неё ещё больший страх. А в окно всё внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и сыпал снег...

И когда ложились с мужем, она проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

– Вась, а Вась... как же мы без хлеба-то? Отымут ведь.

Хозяин повернулся на другой бок:

– Не зуди, без тебя тошно.

Парфёнову не спалось. В избе стоял дремотный шорох – не то тараканы шептались, не то домовый колобродил. Неоткуда быть свету, а по потолку бродят тени. Собаки давно отлаялись, и за промёрзшими окнами только пурга властвовала, заноса снегом весь белый свет.

Вот стукнула во дворе калитка, послышались смутные голоса, заскрипел снег на крыльце, глухо затопали, стряхивая, валенками.

– Никак к нам? – сказала жена, поднимая голову.

Прислушались.

– К нам и есть, – проворчал Парфёнов, поднимаясь.

У ворот и под окнами одинокого свежесрубленного дома мнут снег десятка полтора казаков и баб. Это странно: непогода, ночь – чего же ради мёрзнут люди и почему они говорят так необычно тихо? Покойник в доме? Казака смерть не удивит.

Ворота открыты настезь. Посреди двора стоят сани, на них чернеет под снегом куча тряпья. Где-то спросонья хрюкала свинья. Лошади под навесом жевали сено – слышен хруст. Крепко пахло навозом.

Подошёл вызванный посыльными Парфёнов. К нему подвернулся старичок с измученным лицом и секретно вполголоса заговорил, прищёптывая, быстро шлёпая посиневшими губами.

– Тут, старшина, у нас история сделана....

Старик вздохнул, беспомощно махнул рукой и потянул за собой Парфёнова.

Казаки молчали, вращая в сугроб.

Бабы заглядывали в окна, шептались:

– Сидит?

– Сидит не шелохнётся...

– А она?

– Да она в горнице, не видать.

Старик, морщась, шамкая задубевшими губами, заговорил:

– Тут, вишь ты, Ивашка мой приезжего топором кончил, а и жену повредил. Бабу-то только саданул крепко, вгорячах, а мужик-то, продотрядник, кончился. Спаси Господь! Через бабу потерпел. Ухажёркою была, да Ванька её умыкнул, дурило. Говорил ему – не бери мужичку. Э-эх! Видал, как его? Поди, взгляни. Вон на санях лежит.

Парфёнов прошёл через толпу к саням и приподнял запорошенный снегом конский потник. Под ним лежал николаевский возница Бондарева и его спутников.

Лежал он, словно упал, споткнувшись на бегу, поджав одну ногу под живот, другую вытянув. Одна рука заброшена за поясницу, другая смята под боком. Голова его была разрублена от уха до уха, чернела кровавым проёмом, отвалившийся лоб закрыл глаза. Рот полный мелких зубов был искривлён и широко разинут. Казалось, что мужик этот, крепко зажмурясь от страха, кричит в небо криком неслышным никому.

– Айда в избу, – позвал казаков Парфёнов, опасаясь.

На лавке у окна, опустив кудлатую голову на сложенные на столе руки, сидел мужчина. Он никак не шевельнулся на звук шагов вошедших.

Парфёнов заглянул в приотворенную дверь горницы. Из темноты с кровати глянули на него круглые глаза женщины. Не сразу, приглядевшись, Парфёнов заметил уродливую синюю опухоль, исказившую её лицо.

Чей-то голос за спиной горячо разъяснил:

– Нарошно он на Ивашкин-то двор завернул, чтоб к Дуське, стало быть, подкатится. Честь честью его накормили, напоили, а он злоязычать начал. Грит, и хлеб, и бабу у тебя, Иван отымам. Всё теперь, грит, мужикам принадлежит. Я, грит, рабочих с винтарями привёз, теперь казачеству конец. Ну, Ивашка не стерпел, стал его взашей гнать. А во дворе-то за топоры схватились. Во как.

Бабу-то за что мордовал? – бросил Парфёнов неподвижному затылку и, низко склонив голову, шагнул в сени и на заснеженный двор.

– Спасать парня-то надо, – семенил за ним юркий старик, – Спасать Ивашку. Ведь заберут.... расстреляют.

– О том и думаю, – хмуро отозвался Парфёнов, оглядывая лица стоявших во дворе казаков.

Снег метался всё пуще, настойчивее, ночь стала ещё темней и морознее. Ветер завывал в печных трубах, в застрехах крыш, озлобясь на весь мир.

Прошло немного времени.

Баб разогнали по домам. Увели к своим Ивашкину жену с проломленной косицей.

Казачки набились в выстуженную избу. Среди них затерялся бедовый хозяин. На видном месте под образами станичный старшина Парфёнов.

Торопливо семеня, со двора вошёл казачок в рваном тулупчике, а за ним бабка Рысеха, ворожея и знахарка. Подошла, положила жилистую, худую, старческую ладонь на край стола, посмотрела на Парфёнова замутневшимися молочными глазами.

Казачок, состарившийся мальчик, сказал, торопливо дыша:

– Привёл.

Старуха, озирая вокруг себя мудрым спокойным взглядом, спросила:

– Ай, не можется, казачки?

Собравшиеся загалдели:

– Лагутина наворожи, баушка, Лагутина. Где ж его летучий отряд квартирует? Штоб прибыл надо, пособил...

– Да где ж его ночью-то шукать? Непогода – страсть какая!

– Нужды нет! Не твоя забота! – загалдели казачки, – Наворожи, баушка, укажи. Мы уж найдём-дойдём. Хлеб-то свезут от нас... голытьба.

Казачки заискивающе и угрожающе, цепко окружили бабку.

Кто-то недоверчиво ухмылялся:

– Известно, как припрёт, так с нечистой силой сознаешься.

– Бабы-то про меня брешут.

– А ну как прикажем – завертись. Нам сейчас – хоть пропадай.

– Да отстаньте вы от неё!

А уж слышен сухой старушачий шёпот, и узловатая рука кладёт на чело крестные знамения:

– ... первым разом, Божьим часом... и говорю, и спосылаю... меж дорог, меж лугов стоит баня без углов...

Бабкина рука замелькала в быстром вращении, а губы шелестят, шелестя, не разобрать:

– ... и в пиру, и в беде, и в быстрой езде...

Ворожея опустила руку и, глядя на Парфёнова всё те ми же бесцветными глазами, сказала:

– Иттить за ним надо, за касатиком.

– Куда? Куда?

– Не скажу. Самой иттить надо – вам не добраться ни пешком, ни на лошаде.

– Да уж ты-то как? На помеле можа...

Парфёнов будто прочитал что в её неотступном взгляде, встал решительно, пресекая разговоры, сказал:

– Иди, мать... с Богом!

И потянул было руку перекрестить старуху, но передумал. И казачки примолкли, замерли в напряжённом ожидании.

Приезжие крепко спали по казачьим избам, сломленные усталостью и домашним теплом, доверчиво не выставя постов, не ожидая никакой беды.

К полуночи вьюга стихла, небо вызвездило, ударил морозец, скрепляя вновь наметённые сугробы. На широкой, озарённой луной улице показалась конная полусотня.

Остановились. Разгорячённые лошади топтались на месте, мотали головами, звеня удилами. С подъехавших напоследок саней сошла согбенная фигура.

Молодцеватый, с огромными усищами разбойный атаман Лагутин перегнулся в седле. Прощаясь, сказал:

– Спасибо, мать, за помощь. Теперь спешу домой да закройся – не ровен час, подстрелят.

И выпрямляясь:

– Ну, где старшина? Где этот Парфёнов, мать его!

Бондарев, Лопатин, Трофимов и Гриша Богер спали вповалку на полу у печи, не раздеваясь, положив шинели под головы. Среди ночи резануло слух – матерная ругань, грохот распанутой двери, звон покотившегося ведра.

Лопатин будто и не спал, вскочил и, не теряя ни секунды (эх, винтовки где?), как буйвол ринулся в сени. Кто-то навстречу. Шашка ткнулась в плечо, брызнула кровь. Лопатин покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, со стоном и остервенелой бранью рухнуло чьё-то тело. Вырвался на мороз и понёсся сажеными скачками по двору.

По ринувшемуся за ним Бондареву без промаха пришли казацкие шашки.

Лопатин выбежал со двора и бросился по улице туда, к Совету, со смутной надеждой на что-то. Впереди и сзади метались тени. Свои? Чужие? Лопатин, прыгая через сугробы, неся с такой быстротой, что сердце не успевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: высокое крыльцо Совета, лица Фёдорова, местного председателя. Там спасение.

Но сплошной, потрясающий стылую землю топот неся страшно близко, настигая сзади. Ещё страшнее, наполняя безумно яркую белыми и чёрными красками ночь, накатывался лошадиный храп.

Лопатин бежал, каменно стиснув зубы. «Жить!.. Жить!.. Жить!..»

Голова взрывом разлетелась на мелкие части. А на самом деле на две половины рассеклась под свистнувшей в воздухе шашкой.

Когда Бондарев, порубанный казаками, застонал, заваливаясь на крыльце: «Ох, братцы, да что же вы делаете?», Тимофеев был уже в сенях. Отбросил в сторону занавеску-дерюжку, ткнулся в тёмный угол. На него пахло холодом улицы, и сквозь щели в полу тускло забелел снег. Здесь был лаз в дровенник. Его Тимофеев приметил, когда ходил перед сном по нужде. Остро пахло берестой, сосновой щепкой. У дверного проёма – толстая колода с разбросанными вокруг, припорошенными поленьями.

Тимофеев окинул взглядом опустевший двор – крики теперь доносились только с улицы. На задворки путь был свободен. Бесконечно долго бежал он по сугробистому огороду к ограде, ежесекундно ожидая услышать окрик или выстрел в спину. Он знал, что пощады ему не будет. Далее за плетнём и неширокой полоской опушки темнела стена леса, который готов был укрыть, спасти, надо лишь, не терять времени, пока не спохватились враги.

– Ах вы, подлецы! Ах, предатели! – бормотал Тимофеев себе под нос.

Плетень. Он ухватился за тонкий конец жердинки, вздымая плотно сбитое тело своё, и она, звонко хрустнув, подломилась...

Ему было плохо – очень болело в боку, и трудно было дышать. Он всё время шевелил плечами, пытаясь сбросить с себя какую-то непонятную, давившую его тяжесть, но не доставало сил, и тяжесть продолжала его давить – мучительно и непрерывно.

Он лежал, вернее, висел зажатый меж двух плетней и замерзал недвижимый, раздетый. Его бил озноб, а он тщетно пытался с ним совладать. Мороз безжалостными иглами впивался в тело – от него зашлось бедро, заоченели скрюченные пальцы. Перед глазами от дыхания трепетала тонкая плёнка лопнувшей на жердине коры.

То затихая, то вновь заполняя собою всё пространство, носились над станицей крики, вопли, выстрелы. Раздираемый страхом и коченеющий Тимофеев корчился на боку в узком пространстве между плетнями. Под его затёкшим плечом чуть подтаял, а теперь смёрзся с гимнастёркой снег.

Ему так хотелось завывать, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на подступающую к нему ужасную смерть. Ведь люди же они! И он человек. Но что толку было кричать, ведь кругом были враги, одни враги, жаждущие отнять его жизнь. И лишённый способ-

ности шевельнуться, он горячечно метался мысленно в поисках какой-нибудь возможности спастись.

Но, кажется, выхода не было, лишь нестерпимая боль и обида на несправедливость судьбы. По всей видимости, теперь для него начинался другой отсчёт времени, которым он не распоряжался. Наоборот, время стало распоряжаться им, и ему лишь оставалось покориться его немилосердному ходу.

Его искали. Озлобленно, остервенело лаялись казаки, шныряя по дворам. И это прибавляло в нём решимости. Он им нужен живой или мёртвый. Иначе они не смогут успокоиться, иначе они не смогут замести следы своего страшного преступления.

Значит.... Значит, будет лучше, если они его не найдут. Ему надо умереть здесь. Так будет лучше для него самого, для тех, кто придёт мстить.

Новый поворот в его сознании осветил всё другим светом, придал новое направление всем его помыслам, по-иному перестроил его намерения. Он притих, весь собрался, сосредоточился на своей новой цели....

Запнувшись о распластаный на крыльце, коченеющий труп, из избы вырвалась наспех одетая простоволосая женщина с винтовкой в руках, задыхающаяся в бормотании:

– Господи, Боже мой, Господи....

Отбежав от ворот, остановилась, дико озираясь. Станица была темна, не светило ни одно окно, лишь свежеумытая луна щедро лила на снега свой холодный свет. По дворам шныряли чьи-то тени, верховые пересекали улицу и истошно заходились собаки.

Женщина издала стон и, прижимая тяжёлую винтовку, бросилась прочь от дома в незапахнутой шубейке, в валенках на босу ногу:

– Боже мой! Боже мой!

Она миновала немало домов и, толкнув покосившуюся калитку, протрусила широким, заметным двором, забарабанила в оконце ветхой, каким-то чудом удерживающей глубоко прогнувшуюся крышу, избёнки. Окно, помешкав, затеплилось. Женщина метнулась к низенькой двери. Переступив порог, с грохотом бросила на пол винтовку.

Бабка Рысиха смотрела на неё совсем не сонно, недобро, без удивления.

– Приезжих убива – а – а – ют, – заголосила женщина, – и Васька-то ружьё схватил!

Она надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы запутавшие лицо обжигали глаза. Ворожея оставалась неподвижной – телогрейка наброшена на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые уродливые, с узлами вен ноги, жидкие, тускло-серые космы, с жёсткими морщинами деревянное лицо, взгляд спокойный, недоброжелательный.

– Мамаля – а! Васька же... Приезжих... Ружьё схватил!

Лёгкое движение включенной головой – понимаю, мол – скользкий взгляд на винтовку, затем осторожно, чтобы не упала с плеча телогрейка, ворожея подняла руку, перекрестилась и произнесла торжественно:

– Геенна им огненная! Достукались анафемы....

Всем телом женщина дёрнулась, вцепилась обеими руками себе в горло, опустилась на пол, горестно раскачиваясь всем корпусом.

– Вы... вы! Что вы за люди! Господи, Боже мой! Ка – амни – и! Ка – амни! Ты никого не жалеешь, и он... он никого не пощадит. Хотел убить. А потом – потом распла – ата. Камни вы бесчувственные.

Ворожея хмуро смотрела, как казнится и причитает сноха.

– Страшно! Страшно среди вас!

– Ну, хватя слёзы лить. Дитёв-то на кого бросила, скажённая?

Тяжело ступая усталыми ногами по неровным массивным половицам, Рысиха подошла к лавке у печи, зачерпнула в ковш воды, заглянула, пошептала и подала снохе:

– Пей, не воротись. Криком-то не спасёшься.

Женщина, стуча зубами о ковш, громко глотнула раз, другой – обмякла, тоскливо уставившись сквозь стену.

– Дивишься – слёз не лью? Они у меня все раньше пролиты, на теперь-то не осталось.

Через несколько минут старуха была одета – сморщенное лицо по самые глаза упрятано в толстую шаль, ветхая шубейка перепоясана ремешком.

– Посиди пока-тко. А как оклемаешься, иди к ребятам. Пойду и я, догляжу.

По пути к двери задержалась у винтовки

– Чего с этим-то прибегла?

Женщина тоскливо смотрела в невидимую даль и не отвечала.

– Ружьё-то, эй, спрашиваю, чего притащила?

Вяло шевельнувшись, женщина ответила:

– У Васьки выхватила. Ведь он чуть не убил одного, молоденького самого. А другой на крыльце порубанный...

Старуха о чём-то задумалась над винтовкой, тряхнула закутанной головой, отгоняя мысли прочь:

– Всех ба надо.

В темноте копошилась какая-то тень и напугала лагутинского казака Калёнова. Он вскинул винтовку, но, приглядевшись, крикнул:

Фу!... Чертовщина. Что ты бродишь среди ночи, старая?

– Испужался, казак?

– Ладно, испугался, пальнуть бы мог.

– А и пальни. Да не в меня. Иди-к сюда. Видишь, вон меж плетней темнеет?

– Да чтоб оно провалилось, что там можа темнеть?

– Не бойся, иди сюда.

– Чтоб тебе сгореть ясным огнём, – бранился немало перетрусивший казак. – Вот я его пулькой достану. Эй, ну-ка покажись!

Помедлив, потоптавшись, вытягивая шею в сторону пугающего чёрным пятном плетня, Калёнов вскинул приклад к плечу, прицелившись, бахнул. Эхо ответным выстрелом отскочило от стены бора.

Пуля впиалась Тимофееву в спину и застряла внутри, обжигая задубевшее тело. С силой сжав зубы: «Только бы не закричать. Не выдать себя» – он конвульсивно напрягся, будто пытаюсь разорвать на себе невидимые путы. Вдруг все боли разом оставили его. «Вот и конец мученьям», – подумал Тимофеев и умер.

Ещё не рассвело. Выстрелы, крики над станицей смолкли. Пластуны Лагутина развели на площади перед Советом костры и с помощью станичных стаскивали к ним порубанных рабочих и николаевских мужиков.

– Дак, говоришь, девятнадцать их было? – широко шагая по улице, спрашивал Лагутин поспешавшего за ним Парфёнова.

– Двое утекли, – сокрушался станичный старшина. – Ну, как до своих добегут...

– Не паникуй! Искать надо. Искать!

Довольный собой Лагутин был деятелен, прогнал на поиски жавшихся к кострам озябших казаков. Те побродили по дворам и гумнам, потыкали шашками в сено, разломав плетень, извлекли труп Тимофеева да вернулись к огню, сетуя, что «одного-таки чёрт прибрал».

И вдруг... Все головы повернулись в одну сторону, а оттуда из темноты:

– Иди, иди, сволочь!

В освещённый круг вошла, поражая своей неожиданностью, парящая на морозе, мокрая с головы до ног фигурка Гриши Богера. Он затравлено озирался испуганными глазами и дрожал всем телом. Мокрая одежда стремительно смерзлась и похрустывала при ходьбе.

– У проруб сховался, – всё никак не справляясь с охватившим его волнением, рассказывал казак. – Это каким манером вышло. До речки добёг, сиганул, змеёныш, в камышовый куст, проломил лёд и затих, одна лишь головёнка чернеет. Так бы и замёрз, жидёнок. Да на его счастье бабка та шустрая объявилась – указала.

– Пластай его, так растак! – подбежал маленький казачишка из местных с шашкою наголо.

– Постой!... Погодь! – загомонили кругом. – Надоть атамана покликать.

Гриша Богер, стуча зубами, шамкая непослушными губами, заговорил вдруг:

– Мне б в тепло. Помру я здесь, а у меня мама....

Казачи стояли, поёживаясь от озноба, хмуры глядели.

Кто-то сказал от костра:

– Сопляк совсем. Гляди, и шешнадцати нету.

Разом взорвались голоса:

– Нет, ну здорово! Как хлеб отымать – годов не считал. У него мамка, видите ли.... А у нас щенки под лавкой, которых и кормить не след....

Голоса всё более озлоблялись, возбуждаясь. Подходили станичные.

– Это хто ж такой?

– Вот утопленник ожил. Да что его жалеть.... Пластай!

Подошёл Лагутин. Мельком глянул на Гришу и, повернувшись, пошёл прочь, уронив:

– В расход.

– Пойдём, – преувеличенно строго сказали два казака.

– К-куда вы м-меня, – не попадая зубом на зуб, срывающимся голосом спросил Гриша Богер.

Трое пошли, и из темноты с тою же преувеличенной строгостью донеслось:

– В избу. Отогреешься, потом спрашивать будем.

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в бору, наконец смолк. А ночь всё была полна неумирающим последним выстрелом....

Возле крыльца Совета Лагутин, разминая озябшие ноги, немного походил, вдыхая широкой грудью крепкий морозный, замешанный на горьковатом запахе хвои воздух, поглядел в небо. Декабрьская ночь царила над станицей, бором, всей землёй. Сияла луной, рассыпанными из края в край мерцающими созвездиями. Но на востоке уже чуть посветлел краешек неба, прижатый темнотой к горизонту.

– Подожди, послушай, – Парфёнов торопливо подходил, настороженно оглядываясь – Вроде кто кричит?

Ему послышался человеческий вопль где-то на реке, сразу смолкнувший, затерявшись среди синих сугробов. С берега слышны скрежеты лопаты о звонкий лёд, гулкие удары кирки или лома, глухие голоса и фыркание лошадей, волочивших на реку раздетые трупы продотрядников.

В новом, охватившем всех воодушевлении люди, то и дело матерясь, суетились возле проруби, сталкивая поглубже в воду на стремнины течения коченелые тела, и с тревогой поглядывали на разгорающийся восток.

А речка, подковой опоясавшая станицу, синела под звёздами. С высоких берегов нависали спаянные пургой и морозом снежные гребни. Ветер шевельнулся от русла реки, снежной крупой прошуршал под ногами.

Всплески воды заставили Парфёнова поёжиться, и он с кривой улыбкой проговорил:

– Показалось – должно в ушах свербит, – и надел шапку. – Чёртов холодище. Я всё-таки, кажется, простыл.

– Тьфу, напасть! – весело откликнулся Лагутин. – Засыпаю прямо на ходу. Наплывает на меня что-то. Весь в холоде, а на веках ровно гири. Сутки ведь не спамши. Часа два только прикорнул и в прошлую ночь.

Парфёнов и Лагутин ценили друг друга и не скрывали этого ни перед кем. И далеко не корыстные цели сближали их, а простые искренние человеческие отношения. В обоих хватало и здравого смысла и той непосредственности, которая так бывает мила и приятна в людских отношениях. Да и пути их часто пересекались.

Лагутин, не сдержав удовольствия, просиял, заулыбался во весь свой белозубый рот:

– Нет, ну скажи, на моих ребят можно положиться. А кто у тебя из станишных такой мастер по прорубам? – и подмигнул с намёком.

– Ну, пойдем, погреемся, – устало позвал Парфёнов.

Вокруг уже заметно поредел и побелел воздух, но густая тишина сломленной к утру декабрьской ночи наплывала на людей с ещё большей силой неодолимого сонного часа.

Когда Лагутин вновь вышел на крыльцо, наступило уже утро, яркое и чуткое. Каждый звук – и хруст под ногою, и визг колодезного журавля, и даже поскрипывание вёдер на коромысле необычно долго и тонко звенели в чуть подсиненном воздухе. Тополя, схваченные морозом, заиндевели и под белым зимним солнцем сверкали, как стеклянные. Снег вокруг блестел, на нём беспрестанно вспыхивали и гасли радужные искры. С высокого крыльца тёмные стены изб, протянувшихся по-над берегом, казались мухами, облепившими сахар.

На площади перед Советом собирался станичный люд – ребятишки шныряли, управившись по хозяйству, спешили казаки и казачки. Лагутинцы седлали коней, а меж ними расхаживали местные, вполне уже мирного вида.

– Да убери ты свою судорогу! – ругали маленького казачка в засаленном тулупчике с шашкой в руке. – Воронье пугало!

– Сам ты..., – отлаивался мужичок более похожий на подростка.

Лагутин, приметив в толпе Рысиху, поманил её к себе.

– Тороплюсь ныне, а как время будет, посидим с тобой за самоваром – расскажешь, как бурю одолела.

– Всё расскажу, касатик, всё. Как время придёт помирать, всё расскажу. Да только тебя уж тогда не будет.

– Как знать.

– Я знаю.

Лагутин омрачился. Повернувшись к Парфёнову, сказал:

– Смотри, бабку не обижай. Очень она у тебя полезительная. За столько вёрст мы отсюда стояли, а смотри ж, нашла. От краснопузых её береги, да и сам не попадись. Смотри, дознаются – худо будет. Слышишь?

– Не попадусь, Семён.

Лагутин молодецки взлетел в седло. Взыграли кони под хлопцами. Атаман поднял руку, прощаясь со станицей.

Кто-то из старух привычно заголосил:

– Как же мы без вас, родненькие!

Лагутин махнул ногой. Лошадь, высоко взбрыкнув, пошла в галоп. Проводив взглядами лагутинцев, побрели по домам станичные, переживать каждый в своём углу происшедшее.

Парфёнов, оставшись в одиночестве, вдруг начал осознавать, что беда, постигшая станицу для всех общая, но мера ответственности за неё у каждого своя. И расплата будет не равная. Он с тревогой окинул взглядом опустевшую площадь, перекрестился.

Порыв ветра сорвал с обрывистой береговой кручи крупитчатый снег, смёл его в пропасть яра, покрутил злобно на лысом льду затянувшейся уже полыньи, ставшей общей могилой

девятнадцати бойцам продотряда и пяти николаевским мужикам, и, перебежав на тот берег, утих, словно запутался в прибрежных кустах краснотала – так густо и непролазно здесь было даже среди оголённых зарослей.

Соколовская пасха

*Такой борьбы, в которой бы
заранее известны были все шансы,
на свете не бывает.*

(В. Ленин)

Поля совсем оголились. Только в глубоких лощинах да оврагах ещё таились от солнца грязно-ноздристые исхудавшие сугробы, но и те с шуршащими вздохами оседали, холодными струями уходили в землю. А земля была чёрная, бухлая, томно грелась под солнцем и нежила тучное своё тело, нахолодавшее под белыми пуховиками зимы.

Разноголосо лопотала-бурлюкала вода. Толпами звонких мутных ручейков сбегала она со всех сторон и там, на дне оврага, затевала безудержный бунт, а потом сильная, освобождённая от тяжёлых снов и колыбельных песен зимы, с глухим рёвом устремлялась в Черноречку.

Сосновый бор на горе, старый великан, тихо покачивал зелёными кудрями и тянулся к солнцу в голубеющую высь. Сосны беспрестанно тихо гудели – не о той ли воле богатырской, что всё мерещится где-то там, за вешним, ярко играющим горизонтом?

Вязкий суглинок дороги липнул к копытам лошадей, нарастал на них пудовыми ошмётками, отваливался и налипал снова. Лениво взлетали вдоль дороги грачи и, покружив в тёплом дыхании весны, садились вновь, деловито изучая землю.

Красно-партизанский отряд Константина Богатырёва въезжал в родную Соколовскую станицу и быстро таял на глазах – казаки заворачивали на свои подворья.

Вот и дом отца. Уже многие годы он ничуть не менялся – всё также мощно, кряжисто лезли в глаза рубленные «в лапу» венцы, голубели наличники и ставни, высокие столбы ворот, прямо как часовые на посту, охраняли просторное подворье.

На миг померещилось Константину – вот сейчас откроется, звякнув кольцом, калитка, и выбежит на улицу вихрастый круглолицый мальчуган. Помедлил, пребывая в грёзах, да и повернул коня к дому своего детства.

Уже спешившись во дворе, Константин увидел под навесом лошадь, узнал буланого Петра, и безрадостно заныло у него под сердцем. Старший брат пришёл с германской есаулом. После революции собрал бывших однополчан для борьбы с Советами. За Константином пошли те, кто сочувствовал новой власти. Бог миловал – братья не встречались ни в тёмном лесу, не в широком поле, а теперь вот сошлись под отеческим кровом, похристосоваться, так сказать, на самую Пасху. Делать нечего, придётся слушать упрёки и насмешки белоказачьего есаула.

Ещё в сених он уловил знакомый с детства дух половиков, овчинных тулупов, прокалённых на широкой русской печи, и сладковато-дурманной запах пасхальных куличей.

Мать кинулась к порогу, всплеснув руками, и, не обняв даже, тут же уткнулась носом в край косынки – плакать. Отец радостно засверкал глазами, чуть оторвал свой зад от скамьи у стола. Сидевший напротив Пётр криво ухмыльнулся и тоже привстал.

– Смотрите, кто пожаловал! Сам товарищ краснопузый командир. Наше вам, – он размашисто поклонился. – С приездом, браток-большевичок! Прошу к столу, господин социал-демократ, лихой казак, командир бандотряда, лучший рубака станицы – сволочь, одним словом! Вам, случаем, товарищи ещё не поручили дивизию? Может вы уже – высокопревосходительство краснопузый генерал? Сколько же вы, поганцы, крови людской пролили ради своей революции.

Константин ткнулся носом матери в плечо, неторопливо разделся, снял сапоги, сел за стол, пожав руку отцу, и стал напряжённо слушать.

– А чего это ты явился, спрашивается. За большевиков агитировать?

Константин смотрел на брата тяжёлым взглядом, а Петру всё труднее удавалось сдерживать себя.

– Т-ты! Социалист-моралист! Чё ты пялишься, как кот на колбасу. Родину продал, совесть продал. Приехал мать с отцом Советам закладывать?

Пётр уже кричал, всё сильнее сжимая набрякшие кулаки. Перед тем было выпито немало. Голова у него закружилась, он качнулся и схватился за край стола. Месяцами накопленные в сырых лесных землянках тоска и злость внезапно прорвались в нём и выплёскивались теперь наружу, сочились в словах, взгляде, конвульсивных движениях, сжимали в болезненные тиски голову, требуя выхода, и Пётр уже не мог остановиться. Говорил, говорил, срываясь на крик, всё более багровея лицом.

– Ну, хватя вам! – пристукнул ладонью по столу отец, потянул носом, раздувая широко ноздри, кивнул на наполненные стаканы. – Давайте-ка, выпьем в честь Святого праздника.

Мать уже вышла, накинув на плечи тяжёлую шаль. Вскоре вошла Маня – Петрова жена. Кивком поздоровалась с деверем и стала, прислонившись к печи, спрятав за спину красные распаренные руки, глядя на мужчин тупо, отрешённо.

Богатырёвы все разом пригубили стаканы, одинаково запрокинули головы, громко похлопали кадыками, поморщились крепчайшему самогону, торопливо стали занюхивать и закусывать.

– Так-то будет лучше, – торопливо жуя щербатым ртом, проговорил отец.

Вошла мать:

– В баню-то вместе пойдёте или с бабами?

– Пойдём, Петро? – впервые, как вошёл, обронил слово Константин. – Я уж, чёрт знает, сколько не мылся, опаршивел весь.

Старший брат нахмурился, подавляя вздохом давние мечты побанничать с женой.

– С тобой, говоришь? – он усмехнулся. – Ну, раз зовёшь – пошли.

В баньке он вёл себя по-хозяйски – зачерпнул где-то в углу ковш красноватой, неперебродившей браги, отхлебнул сам, протянул Константину. Да и как ему не быть здесь хозяином? Ещё когда был на германской, от детской шалости сгорел дом. Маня с ребяташками перебралась к свёкру, а Петру некогда отстроиться – с войны опять на войну.

Оглядывая раздетого брата, Константин почти со страхом сказал:

– Господи, исхудал-то как! Ты что, совсем без харчей зимовал?

Пётр уныло махнул рукой и отвернулся. После долгой паузы сказал:

– Классового врага пожалел?

Парились с остервенением, соревнуясь. Уже в предбанники, полуодевшись, потягивая всё ту же неотбродившую бурду, посматривали друг на друга дружелюбно, почти с любовью.

После баньки отдохнуть, обсохнуть, отпиться кваском и поговорить по душам толком не удалось – прибежала радостная Наталья, жена Константина, и утащила мужа домой.

Вечеряли не долго. Разошлись по полатам и лежанкам.

Маня, утолив мужнину страсть, дождалась, когда он отодвинется, и села на кровати. Сгорбившись сидела, опустив босые ноги на пол, а спина её мелко тряслась.

Пётр, пытаясь успокоить её, машинально погладил по плечу, и она вдруг затихла. Он почувствовал, как напряглось всё её тело.

Маня тяжело, обиженно вздохнула и сказала с болью поразившей его:

– Господи, какая у тебя чужая рука. Я совсем отвыкла.

И он тут же убрал руку, отвернулся и не знал, что сказать ей.

Была ночь и для Константина, и Наталья рядом, её ласковый шёпот: «Подожди, ребята ещё не уснули», а ждать он не мог – желание было нестерпимым. Прижимаясь к нему так, словно хотела до конца слиться с ним, раствориться в его теле, она шептала каким-то незнакомым голосом:

– Боже мой, Костя, я только теперь начинаю понимать какво без тебя. Ну, почему ты уходишь от нас? Ведь ребята уже подрастают, им отец нужен. Мне, мне ты нужен больше всех.

И утром она не могла никак успокоиться, возбужденная сновала по избе, то и дело дотрагиваясь до мужа, гладила его плечи, руки.

Праздник был на дворе, праздник был на душе Натальи. А погода подкачала – небо набухло низкое, тёмное, готовое в любую минуту рассыпаться на дождь или снежную крупу.

Управившись по хозяйству, всем семейством направились в родительский дом.

По обычаю христосовались прямо у порога. Бабушка совала внучатам леденцы, крашенные яйца, раздевала и подталкивала к столу. Дед уже «причастился» и теперь пьяно улыбался в усы, дипломатично помалкивая. Пётр и Маняша хмурились, сторонились друг друга. За столом всё внимание детям.

Братья, расцеловавшись у порога, ближе друг другу не стали. Пётр хмурился и разглядывал в окно низкое холодное небо, гадая, что можно ожидать от него в ближайшие часы – дождя или снега? Константину после выпитого вернулось ночное желание, и он неотступно преследовал жену ласково-вопрошающим взглядом, который не остался незамеченным. Наталья вдруг покраснелась, словно излишне пригубила, засуетилась, расщебеталась с женщинами, раскудаhtалась с детьми – только её и слышно, и в то же время ни на минуту не выпускала мужа из поля зрения.

Их незримый контакт вдруг открылся Петру, и тот позавидовал – чокаясь, зло выдавил из себя:

– Сволочь ты, братуха.

– Цыц, во Христов праздник! – оборвал его отец, выпив, продолжил. – На посевную-то вас ждате али баб в сошку запрягать?

Братья переглянулись и промолчали.

– Па-анятно! – усмехнулся старший Богатырёв. – Вояки, мать вашу! Сами собачитесь, людей булгачите. Взять бы ногайку да обоих, да перед всей станицей, чтоб ума, стало быть....

– Возьми, – скривился Пётр и устало повёл плечом.

Константин всё преследовал Наталью взглядом, не слушая, утвердительно покачал головой.

Дед, в очередной раз чокаясь с сыновьями, укоризненно процитировал своё любимое:

– Богатыри не вы....

Засиделись.

Захныкали ребяташки, просясь на улицу. Женщины завздохали – пора скотину убирать.

Вдруг над станицей прогремел выстрел. Богатырёвы разом встрепенулись, оборотились к окну. Тягостной показалась наступившая тишина и подозрительной. Не слышать ни песен над станицей, ни гармошки.

Напряжённо текли минуты. Снова выстрел, и будто прорвало, зачастили, забахали – где-то там, на улице завязался бой. Оба брата, столкнувшись в дверях, бросились одеваться, мимо испуганных женщин, ребяташек, находу пристёгивая оружие.

У избы, куда они подбежали, уже были выбиты все стёкла. В окнах мелькали чьи-то тени и сверкали белым огнём выстрелы, под крышу сизыми струйками выплывал пороховой дым.

– Ага! Проняло! – кричали нападавшие и палили из-за дров, сараев, заборов.

– Аат-ставить! – рывкнул Пётр, выбегая под выстрелы прямо перед домом.

Пальба разом прекратилась.

– А ну, все ко мне! – продолжал командовать Пётр Богатырёв.

Опасливо, с винтовками наперевес, вокруг него начали собираться казаки.

– Что не поделили? – спросил Пётр, вглядываясь в лица, с удивлением отмечая, что враждующие поделились не на белых и красных, а на родственные группы.

– Вот эта сука, – бородатый казак с диковатыми глазами ткнул винтовкой в плечо другому, – братуху моего посёк.

«Краснопузые сцепились», – удовлетворенно подумал Пётр.

– Но ты, полегче, – вскинул своё оружие обвиняемый. – Сам нарвался.

И окружавшие Богатырёвых казаки, винтовки на изготовку, подались вперёд, готовые стрелять, лупить, ломать, вцепиться в горло врагу. Минута была критическая. И Пётр решился вершить суд скорый и, как думал, правый, чтобы спасти станицу от потоков крови.

– Ты его брата убил? – ствол Петрова маузера ткнулся в лоб ошалевшему казаку. – За что?

– А ты, какого хрена...? – красный партизан попятился, крикнул младшему Богатырёву. –

Командир!

Константин тронул брата за плечо:

– Ты это брось.

– Аат-ставить! – рявкнул белый есаул красному командиру и нажал курок.

Выстрел бросил казака на землю.

– Т-ты! – ахнул Константин, рывком развернул к себе брата и ударом богатырского кулака опрокинул навзничь.

Утерев кровь с разбитой губы, Пётр поднялся, сверля взглядом красного командира.

– Сука! Быдло краснопузое! Шашку вынь – руками мужичьё машет.

С обнаженным клинком в руке шагнул к младшему брату.

Раздался круг. Два края у него. На одном Константин Богатырёв, на другом – брат его единокровный, а из-за плетней, из окон домов белеют встревоженные и любопытные лица. Пётр шагнул вперёд, и, ни в чем не уступая, Константин тоже сделал шаг.

Старший Богатырёв ростом выше, а младший телом тяжелее, в плечах пошире. Хотя на глаз трудно смерить – одного корня побегу.

Ещё шаг и ещё. Сошлись. Ждут чего-то, сверлят глазами. Может, остановятся? Нет, ждать обоим нечего и не от кого, только от себя.

Сверху будто бы наметился рубить Пётр, а ударил наискось снизу. Острая шашка летит в колено противнику. Встретились клинки, сталь лязгнула о сталь, и заметались, как змеиные жала. Легко и вёртко прыгают поединщики, под рубахами играют мускулы. Справа, слева, сверху, сверху, сверху рубят шашки без передышки, звенит сталь непрерывным звоном. Бьются братья не на жизнь, а на смерть. Весь мир для них обоих сейчас замкнулся на остром жале клинков.

Учил их отец сызмальства хлеб добывать и достаток в поте лица. А есть ли труд тяжелей теперешней работы? Пот заливает глаза. И нет мгновения, чтобы отереть лицо. А вот ладони не потеют, иначе не удержать им жёстких рукоятей шашек.

Легко, по-кошачьи, прыгают грузные противники, уже не раз поменялись местами, а конца поединка ещё не видно. Свистит сталь, звенит сталь близко-близко от буйных головок. Кому-то смерть заглянет в глаза? Ей всё равно кого взять, хоть обоих.

Пётр отскочил, тяжело дыша. Концом шашки он рассёк крутое плечо брата.

Не страшно Константину, не чувствует он боли, ярость душит его, и еле совладал с ней, удержался, не рубанул по незащитной голове, когда Пётр, выронив шашку, зажимая ладонями вспоротый живот, упал лицом в сырую землю.

Не сразу пересилив боль, Пётр с трудом сел, мутные глаза его безучастно скользнули по лицу брата. Он сказал ровным хриплым голосом:

– Панику отставить.... Сейчас я встану.

И стал подниматься. Казаки подхватили его. Он, выпрямившись, опёрся рукой на подставленное плечо (другую не отрывал от живота) и, пошатываясь, побрёл по улице.

Константин никого и ничего не замечал, весь во власти крайнего душевного напряжения, брёл за ними, по-прежнему сжимая в онемевшей руке окровавленную шашку.

Уже во дворе к нему подскочила плачущая Маня и сильно, наотмашь, хлестанула по лицу. Константин выронил клинок и схватился за поражённое плечо:

– Ты... Маня... что?

Дверь перед ним захлопнули, и он побрёл домой. Посмотрел на жену пустыми глазами, громким хриплым шёпотом сказал:

– Беда-то у нас какая, Таля... Я брата зарубил.

– Какого брата? – не сразу поняла Наталья и ахнула, – Петра?!

День угасал серо, безрадостно. С наступлением сумерек напряжение томительного ожидания достигло нестерпимого накала. Константин, отбросив сомнения, пошёл взглянуть на брата. Никто не препятствовал ему, но и не потянулся по-родственному.

Пётр лежал на своей кровати по грудь укрытый одеялом. Перед ним стоял таз. На сером заострившемся лице его неестественно ярко блестели высветленные болью глаза. Лицо и шея покрыты крупными каплями пота, мокрый свалевшийся чуб прилип ко лбу. Его сильные руки до жути напоминали руки покойника.

– Больно? – ненужно спросил Константин.

И Пётр хрипло сказал:

– Да, очень.

Две крупные слезы выкатились из его закрывшихся глаз, он застонал.

Маня, сидя возле мужа, чуть заметно в такт беззвучным причитаниям раскачивалась корпусом. Мать маялась по избе, бесшумно ступая, то и дело поглядывала на Петра. Ребятишек отослали к Наталье. Отец сидел за столом, будто спал, уронив голову на сложенные руки. Присел напротив Константин. Томительно потянулось время.

Иногда Пётр на несколько минут забывался в полусне, а потом его тяжёлое сиплое дыхание переходило в стон, он дёргался, с трудом поворачивал большую всклокоченную голову, смотрел на потолок чёрными провалами глазниц.

Стоны часто переходили в крики, сначала громкие и страшные, от которых у Константина холодела спина, а потом тонкие и жалобные, когда боль стихала, или у Петра просто не оставалось сил, чтобы кричать в голос.

Его часто рвало. В эти минуты, перегнувшись на бок, он почему-то пытался зажать себе рот, но что-то чёрное сочилось у него между пальцами, и весь он судорожно дёргался, словно боли было тесно в груди, и она рвалась наружу с криком и кровью.

Умер Пётр незадолго до полуночи, и они не сразу поняли это. Уже трижды подносили к губам зеркало и видели – дышит Пётр, и снова ждали, потому что ничего другого им не оставалось. А в четвёртый раз зеркало не помутилось, руки были холодные.

Женщины громко разом заголосили. Отец испуганно оторвал голову от стола. Все склонились над умершим. Пётр смотрел на них сквозь неплотно прикрытые веки. Отец попытался закрыть их, но они тут же медленно приоткрылись снова, словно и мёртвый Пётр хотел смотреть на них.

– Надо медяки положить, – сам себе сипло сказал отец.

Остаток ночи Константин не мог найти себе места, ходил, слепо спотыкаясь, по станице, курил чуть не на каждой лавке. К утру продрогший заглянул домой. Немного отогревшись у затопленной печи, снова пошёл к отцу.

На подворье уже толкался, понемногу собираясь, народ. В угол двора вытащили верстак, строгали доски на гроб.

Заглянул в дом. Петра обмывали в горнице. То, что ещё вчера было подвижным и сильным мужчиной, стало большим неуклюжим трупом с одутловатым сизым лицом, вздувшимся животом, распирающим рану изнутри чем-то чёрным, неприятным. Руки стали толстыми и очень мёртвыми, ногти почернели.

Похороны решили не откладывать, иначе труп грозило «разорвать». Уже к полудню Петра обрядили, положили в гроб, выставили его на табуретках в горнице, пригласили народ прощаться.

Провожать в последний путь Петра Богатырёва и ещё двух казаков, убитых в день Христова Воскресенья, вышла вся станица. Отец обессилел, и первым в процессии, держа папаху в руке, шёл Константин, каменно сжимая челюсти, упрямо склонив голову вперёд.

Пока готовили могилу, Константин стоял у гроба и смотрел на брата. Понимал, что это последние его минуты с ним, а по-прежнему было пусто внутри. Пётр равнодушно взирал на мир медными пятакми.

– Прощаться будешь? – угрюмо спросил отец.

Он зажмурился, и две крупные слезы медленно покатались по его заросшим щекам.

Константин кивнул, неловко переломился в поясе, нерешительно коснулся губами холодного лба. Хотел сказать что-то, но, дёрнув кадыком, махнул рукой и отошёл.

Мать, нагнувшись, долго всматривалась в лицо Петра, будто хотела увидеть какой-то знак. Ничего не было. С Маней отваживалась Наталья.

Потом стояли вчетвером у свежей могилы. Дул плотный влажный ветер, завывая в крестах и набухших ветках вербы.

Тризну справляли в трёх домах всей станицей. За приставленными перед домом Богатырёвых друг к другу столами могли свободно разместиться человек сто.

Расстарались все – Пасха-то прошла безрадостно: пироги с рыбой, яйцами, ягодами и грибами, и просто грибы – бычки, маслята, солёные грузди; пахучие бронзовые лещи, розовые окорока, сало и ещё огурцы, помидоры, мочёные яблоки, одуряющие запахи чеснока, укропа, лаврового листа. И целая батарея наливок и настоек – вишнёвых, рябиновых, перцовых, и, конечно, брага, самогон.

Приглашали к столу и белых, и красных:

– Садитесь, ребятушки, помяните покойного, царствие ему небесное.

Константин неловко сел, будто в чужой дом пришёл помянуть неблизкого человека. Налил себе в стакан и потянулся было к отцу чокнуться, но тот испуганно отдернул руку:

– Что ты, на помин нельзя.

Константин пил и не хмелел. А потом как-то сразу впал в забытие. Что делал, с кем говорил, спал ли где или допослеу сидел за столом – ничего не помнил. Очнулся за станицей, на дороге ведущей к кладбищу, под полушубком что-то давило на грудь и взбулькивало. Пощупал – бутылка.

Была серая апрельская ночь, чуть подморозило. Тонкий ледок резко похрустывал под ногами. Константин присел возле свежей могилы, закурил и огляделся. Зыбкая тьма стояла над речкой Чёрной. Не естественная ночная тьма, а что-то вроде мешанины из вечерних сумерек и непроглядной мглы, когда небо вплотную наваливается на притихшую землю, давит её всей своей толщей, и всё живое начинает беспричинно беспокоиться. Ребятушки прячутся под одеяла. Старухи крестятся и бормочут о конце света. Стариков нестерпимо мучают ноющие кости.

Маялся и Константин. Он то смотрел на могилу, то отворачивался, чтобы смахнуть украдкой от кого-то набежавшую слезу. Физической боли не чувствовал – страдала душа, разлитая, казалась, по всему телу. Даже боль в плече воспринималась как мука душевная.

Что такое была его душа – об этом Константин никогда не думал. Он только знал – это что-то такое, что намертво связано с ним самим, потому что ничему другому места в нем не было. Видит Бог, он пытался любить всех в ущерб себе, но ничего путного из этого не получалось.

Константин внимательно оглядел неопрятную грудку земли, под которой лежит то, что ещё вчера было его родным братом, и вдруг подумал, зачем он здесь. Зачем ему эта могила, какое она имеет отношение к Петру? Ведь он живой. Брат всё ещё живёт в нём и заставляет

делать что-то такое, что в состоянии заставить только живые люди. Но если так, зачем ему быть здесь, около мёртвого?

Мысль была такая неожиданная и больная, что Константин постарался её тут же прогнать. Он обхватил голову руками и попытался сосредоточиться. И, наконец, с отвращением понял, что всё время пытается Петра обвинить в его собственной смерти, а степень его, Константина, вины совсем не так велика, как представляется с первого взгляда.

Вот это уже подлость и глупость. А все остальные оправдания? Надо думать дальше. Всё могло бы быть иначе, не приди они в этот день в Соколовскую, не затей казаки пьяной свары, не застрели Пётр его бойца...

Константин попытался подойти к теме с другой стороны. Верит ли он в Советскую власть? Враг ли ему Пётр? Чем можно оправдать братоубийство? Что может вообще оправдать любую смерть? Может быть, спасение чьей-то другой жизни? Возможно. Ведь одолей Пётр его, лежал бы Константин сейчас под этим холмиком. Как не суди, они – враги. Рано или поздно сошлись бы их пути не под отчим кровом, а на поле брани.

Идёт война, классовая битва, и всё, по сравнению с ней, ничтожно – смерть, любовь, родственные чувства. Вывод был прост и страшен. Одному из братьев Богатырёвых надо было лечь под этот холмик, чтобы другой, оплакав его, жил дальше с камнем в душе. Двоим им не было места в Соколовской, на всей Земле.

Поняв это, Константин встал и огляделся. Луна едва светила, пробиваясь сквозь туман. Темь и пустота были вокруг. Угрожающий рокот реки и шум ночного леса накатывались из мрачного ниоткуда, вызывая неведомый прежде страх. Суеверным Константин никогда не был, а тут не по себе ему стало. Торопливо достал из-за пазухи початую бутылку и одним махом опорожнил. Вновь присел, но прежде передвинул на живот кобуру с наганом, расстегнул её.

Через минуту успокоился, начиная догадываться, что страшно ему не от темноты и одиночества, а от только что пришедшего понимания того, что в действительности произошло на Пасху в Соколовской. И, если раньше он всячески избегал вспоминать, как умирал Пётр, то теперь он знал, что должен пройти и через это. Минута за минутой пережить всё заново. И понять что-то ещё очень важное для себя. Но память извлекла из глубин сознания другой, совсем незначительный эпизод...

– С германской привёз, – отец держал в руках Петрову шашку, – уходил-то с другой. Геройски воевал...

И Константин услышал упрёк в скрипучем голосе – он-то дезертировал, примкнув к большевикам.

Вспомнив сейчас про шашку, Константин почувствовал какое-то беспокойство. Что-то было связано с этим клинком ещё. Нет, не вспомнить. Голова отупела от пережитого.

Он зажмурился, представив Петра, вчера ещё живого, а теперь лежащего под этим тяжёлым земляным холмом. Вместе со слёзой подступила тошнота, рыдания, всхлипы, а потом его стало рвать...

Утро пришло неожиданно. Константин задремал, сидя у могилы, а как поднял голову, увидел туманную бязевую белизну, и сразу бросилась в глаза чёрная надпись на свежем кресте. С минуту он постоял у могилы, глядя не на крест, а на побеленный инеем холмик, словно пытался разглядеть Петра сквозь двухметровую толщу земли. Как он там?

И тут с ним случилось неожиданное. Ещё не понимая, что делает, он опустился перед могилой на колени и зарыдал. Сначала давился, почему-то пытаясь сдержать рыдания, но слёзы так обильно потекли, что он уже не в силах был противиться. Вцепившись пальцами в стылую землю, он тряс головой, исторгая громкие, для самого неожиданные вопли.

– Пётр, Петя, Петенька! Прости, если можешь. Что же мы наделали с тобой, братуха? Как мне матери в глаза смотреть? Жене твоей? Детям?

– Нет, – бормотал он, всхлипывая. – Нет мне прощения. Такого простить нельзя.

– Нельзя, нельзя, нельзя! – будто убеждая кого-то, повторял он. – Это на всю жизнь мне. До самой смерти! Слышишь, ты – до самой смерти!

Кому он кричал – себе, Петру, своей незадачливой судьбе? Никто не слышал его. Голос Константина растворялся в тумане, а ему казалось, что проникает глубоко под землю.

Он вытер грязным кулаком слёзы, поднялся и пошёл в станицу.

Покидали Соколовскую одним большим отрядом. Прощались.

Константин прижал Наталью с такой силой, что она испуганно охнула:

– Что с тобой?

– Так, – проговорил он и, зная, что этим ответом не успокоил, добавил, – уезжать не хочется, и остаться не могу.

Мать, крестя на дорогу, тихо сказала:

– Готовься, сынок, ещё к двум смертям – отцу теперь не жить, за ним и мне черед.

Не нашёл слов для ответа Константин.

За эти дни вода в Черноречке спала и продолжала убывать. Весна крепко наступала.

Объединённый красно-партизанский отряд Константина Богатырёва уходил в Каштакские леса на встречу с передовыми частями Василия Блюхера.

Краснёнок

*Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс,
только борьба открывает ему меру его сил,
расширяет его кругозор, поднимает его способности,
проясняет его ум, выковывает его волю.
(В. Ленин)*

На ослепительно синем небе ярилось июльское солнце. Неправдоподобной белизны облака и рады бы убежать за горизонт от палящих лучей, да нет попутного ветра. Под ними изнывает от зноя пожелтевшая степь – отдавая последнюю влагу, укрывает маревом горизонт. И такое безмолвие вокруг, что, кажется, в полегших травах не осталось больше живности. Не этой ли утрате печалится незримый жаворонок?

Копыта лошадей выбивают из потрескавшегося глянца дороги тонкие клубы пыли, от которой гускнеют их лоснящиеся бока. Кони и седоки изнывают от жары, прилипчивых мух и сонно вздрагивают от гудящих, порой над самым ухом, оводов.

Впереди, где сужалась до нитки и ныряла в голубоватую мглу испарений лента дороги, плыла над горизонтом церковь, белостенная, краснокупольная, с тёмными провалами окон высокой колокольни. Чуть угадывались, а теперь, приближаясь, принимали всё более реальные очертания крыши изб и зелёные копны садов подле них. Они ласкали взор манящей прохладой, ожидаемым роздыхом и живительной влагой из бездонных колодцев.

Немного приободрились, когда повстречали первого селянина. Неподалёку от дороги, на солнцепёке, опёршись обеими руками на костыль, неподвижно стоял седобородый пастух – старик с головою, повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых штанах, в длинной, до колен, низко подпоясанной рубахе.

Его стадо широко разбрелось по обе стороны дороги и, пощипывая на ходу траву, не спеша брело в одном направлении – в лощину, тёмно-изумрудным пятном густых камышей, как заплатка, выделяющуюся в поржелой степи. Что-то древнее, библейское было в этой извечно знакомой всем картине.

Старик долго смотрел вслед всадникам, заслонившись от солнца чёрной от загара и грязи ладонью, а насмотревшись, покачал головой и побрёл вслед утекающему стаду.

Миновав первые дома, подъехали к церкви. Пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву у поваленного плетня большого заброшенного сада. Где-то надсадно кудахтала курица. Откуда-то донёсся женский возглас и звон стеклянной посуды. Босоногий белоголовый мальчишка лет семи, подбежав поближе, восхищенно рассматривал вооружённых всадников.

Дружный топот копыт умолк, оборвался, слышно было только, как позвякивают удилами кони, вытягивая морды к тяжёлым метёлкам придорожного пырея. По знаку ротмистра стали спешиваться и заводить лошадей в садовую сень. Мигом окружили колодец. Холодную, чуть солоноватую воду пили маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра, пили большими, звучными, как у лошадей, глотками.

Расседлав коня, допустив его к траве, к колодцу протолкался низкорослый, лысый, кривоногий подхорунжий, выплеснул из ведра, зачерпнул полное, поискал глазами ротмистра, покосился на нетерпеливые жаждущие лица кавалеристов и принялся пить. Заросший седой щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастёрки губы и мокрый подборок, недовольно сказал:

– Вода-то не очень хороша. Только в ней и хорошего, что холодная и мокрая, а соли можно и поубавить.

А ротмистр уже шагнул по тропинке через сад, прислушиваясь к пересвисту птиц, невидимых за листвой, и с наслаждением вдыхал густой аромат наливающихся плодов.

Он был молод, но уже с тронутыми сединами усами над тонкогубым ртом. На нём были сапоги с маленькими офицерскими шпорами малинового звона, суконные галифе и френч, слева – шашка с серебряным темляком, справа – маузер на ремне в деревянной колодке, фуражка сдвинута на затылок, и в глазах – синий пламень.

Не смотря на то, что в течение нескольких суток он толком не спал, недоедал, а в седле проделал утомительный марш в триста с лишним вёрст, у него в эту минуту было прекрасное настроение.

Много ли человеку на войне надо, – рассуждал он, – отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому весточку, не спеша покурить у походного костра – вот и все скоротечные солдатские радости.

Сад закончился таким же большим и внешне запущенным домом. Тремя ступенями поднявшись на крыльцо, ротмистр постучал в дверь негромко, но настойчиво. Не ожидая разрешения, вошёл в полутёмные сенцы и ещё через одну дверь в комнату.

– Есть кто дома? – спросил.

– Есть, а что вы хотели? – преждевременно полнеющий, низкорослый священник быстрыми шагами вышел навстречу.

– Ротмистр Сапрыкин... Александр Васильевич, – представился ротмистр. – Мы на марше. Переждём жару в вашем, с позволения, саду, а к вечеру – дальше.

– Рад гостям, – священник чуть склонил голову. – Отец Александр... Александр Сергеевич.

– До чего вода у вас в деревне – как бишь её? – солоноватая, – сказал ротмистр и, сняв фуражку, отёр платком взмокший лоб, считая церемонию представления законченной. – Жара, с дороги пить хочется, а вода просто никуда не годная.

И добавил с упрёком:

– Как же вы хорошей воды не имеете?

– Солоноватая? – удивлённо спросил хозяин. – Да вы в каком же колодце брали? В саду? Да та только ж на полив, да скотине ещё.

– А вот в Ложку, – он неопределённо махнул рукой, – да ещё из Логачёва колодца весь край воду берёт. С чего же она могла нынче сгубиться? Вчера приносил – лёгкая вода, хорошая. Да вы попробуйте. Маша! Мария Степановна!

В проёме двери показалась полная, подстать мужу, молодая женщина, смущённо улыбнулась офицеру, полыхнув румянцем ото лба до шеи.

– Встречай, матушка, гостя, а я об остальных попекусь.

– Нам бы, добрые хозяева, – решительно сказал ротмистр, – ведра три картошки, хлеба, ну и соли, что ли. Солдатский желудок не притязателен.

– Будет, будет, – закивал головой хозяин, направляясь к двери.

Ротмистр под возглас хозяйки: «Ой, да что вы, у меня не прибрано!», проворно скинул сапоги, прошёл к распахнутому в сад окну, высоким фальцетом крикнул:

– Кутейников, прими провиант!

В распахнутое окно задувал тёплый ветерок. Он парусил, качал тюлевые занавески, нёс в комнату аромат яблонь, зреющей вишни, медуницы и мягкую горечь разомлевшей под солнцем полыни. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.

Разомлевший от еды, опившись сладковатого костяничного квасу, ротмистр боролся со сном и невпопад поддерживал беседу с хозяевами. Говорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что мужиков в деревнях не хватает, и бабам трудно будет управляться с уборкой, и что, пожалуй, много поляжет, посыплется зерна, попадёт под снег.

– Вот никак я не пойму, господин офицер, – подставляя гостю блюдце бордовой малины, говорила рдеющая попадья, – на Украине немцы, за Кавказом турки, а мы, русские люди, промеж собой воюем. Как это?

– Все русские, да не все люди. Иные хуже распоследнего турчанина. Большевики, эсеры, меньшевики и анархисты всякие... Кто они вам? Не враги? Хуже. Народ мутят: «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим!» На это один может быть лозунг – пороть, вешать, стрелять! Пока напрочь не забудут, что такое Советская власть. Всё дворянство, честная интеллигенция поднялись. Драка идёт нешуточная: иного не дано – либо они нас, либо мы. Эти жернова страшнее интервенции.

И уже засыпая, боднув перед собою головой, сказал:

– С чужого голоса поёте, мадам, а настоящего пения не получается.

И встряхнувшись:

– Извините. На марше. Не спал давно по-человечески.

– Да-да, сейчас, – засуетились хозяева.

Оставшись один, ротмистр скинул френч и блаженно растянулся на кровати. Он видел, как беззвучно покачивались плотные занавески, играли на потолке светлые блики. Слегка кружилась голова, и он закрыл глаза, на миг увидав белые полные руки попадья, и стал привычно думать о прошлом, погружаясь в глубокий и сладкий сон.

Минуло два часа. Жара ещё не спала. Солнце по-прежнему нещадно палило землю. Легко пахнувший ветерок принёс откуда-то чистый и звонкий крик петуха.

Ротмистр Сапрыкин проснулся с необычайной лёгкостью во всём теле. Тихонько шевелились занавески, по потолку по-прежнему скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Застенчивая, скромная чистота деревенской избы, воздух, наполненный благоуханиями сада, и родной, знакомый с детства голос петуха – все эти мельчайшие проявления всеильной жизни радовали сердце, а горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть.

Где-то вверху, на церковном куполе вразнобой ворковали голуби. В саду слышались голоса, смех.

– А что, дед, ежели я этому крикуну головешку скручу, жалко будет?

– Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то курей жалко? Да мы всё отдадим, лишь бы вы Советы сюда не допустили. И то сказать, до каких же пор терпеть это безобразие. Пора бы уж строгий порядок учинить. Вы не обижайтесь на чёрствое слово, но срамно на вас смотреть.

– Ну, так я попробую, дедок?

– А пробуй, милай, пробуй.

Слышны топот ног и тревожное клохтанье петуха.

Смех и топотня обрываются бабьим возгласом:

– И что же вы удумали! Побойтесь Бога! Вдову, сирот малых обирать. А ты, бес лупоглазый, чего скалишься? Неси своо кочета. Ишь, раздобрился чужим-то.

Снова знакомый голос кавалериста:

– Ужасно глупая птица – петух! Бывало, поспоришь с соседом, чей петя голосистее, у него – так аж прямо заливается, а мой – хоть не проси. А то, как загорланит среди ночи, да норовит под самое ухо посунуться. Нето клевачий попадёт. Ты к нему спиной, а он уже на тебе, норовит в самое темечко, макушечку садануть. Сколько живу на свете – петухов буду ненавидеть. Ишь выступает, паскуда краснохвостая.

– Бойся, паря, – обрадовано сказал кто-то незнакомым баском, – вон он с тылов заходит, стоптать тебя хочет.

– Не-а, для этого дела я ему без надобностей. А клюнет – вмиг башку на бок. Тут уж, тётка, не обижайся, а зови на лапшу.

– А что, мужички, довольно ли барской земли хапнули? Смотри, господин ротмистр у нас строгий, порядок любит – вмиг вместе с душой награбленное вытряхнет.

– «Награбленное»... – передразнил кто-то. – А что ей пустовать что ли, раз барина нет? Кто же вас, защитнички, кормить будет?

– Эх ты как, мужик, рассуждать горазд. Так, ежели хозяина нет, то хватай, кто поспеет. Так что ли?

– Так не так, а так...

– Ну, так ты и к бабе моей подладишься, пока я в седле да далеко.

– Ну, баба не земля, хотя тоже рожать....

Одевшись, и не встретив хозяев, ротмистр вышел в сад.

Ничего не изменилось в природе – палило солнце, кружили голуби над колокольной, и облака, казалось, всё той же формы и в том же беспорядке разбросаны по небосклону. Только стал он чуть серее, чуть прозрачнее, утратив резкость синевы.

– Красота-то какая! – сам себе сказал ротмистр Сапрыкин.

Переговаривались, проходя, мужики:

– ... свежая какая-то часть. Что штаны на них, что гимнастёрки, что шинельки в скатках – всё с иголки, всё блестит. Нарядные, черти, ну, просто женихи.

Заметив офицера, приостановились, внимательно оглядели, поздоровались кивком головы.

Даже кепки не сняли, отметил ротмистр, избаловался народ.

Спор в саду, тем временем, разгорелся ещё жарче.

– А я так понимаю порядок, – убеждал круглолицый, невзрачный мужичок, – вот ты – солдат, должен быть при винтовке, а я, крестьянин – при земле. И когда этому не препятствуют – такая власть по мне....

Умолк, завидев подходящего ротмистра.

Чистейшей воды агитация, подумал Сапрыкин, и в его до самых глубин распахнувшейся ликующему празднику жизни душе занозой угнездились чувства досады.

Говорить он любил и умел. И теперь, собираясь с мыслями, вприщур оглядывал толпившихся в саду селян.

– Мужики-кормильцы, – ротмистр умолк, подыскивая нужное слово, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал, – Смотрите, мужики, какое марево над полями! Видите? Вот таким же туманом чёрное горе висит над народом, который там, в России нашей, под большевиками томится. Это горе люди и ночью спят – не заспят, и днём через это горе белого света не видят. А мы об этом помнить должны всегда – и сейчас, когда на марше идём, и потом, когда схлестнёмся с красной сволочью. И мы всегда помним! Мы на запад идём, и глаза наши на Москву смотрят. Давайте туда и будем глядеть, пока последний комиссар от наших пуль не ляжет в сырую землю. Мы, мужики, отступали, но бились, как полагается. Теперь наступаем, и победа крылами осеняет наши боевые полки. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... Воины мои такие же хлебоборы, как и вы, о земле, о мирном труде тоскуют. Но рано нам шашки в ножны прятать да в плуги коней впрягать. Рано впрягать!.. Мы не выпустим из рук оружия, пока не наведём должный порядок на Святой Руси-матушке. И теперь мы честным и сильным голосом говорим вам: «Мы идём кончать того, кто поднял руку на нашу любовь и веру, идём кончать Ленина – чтоб он сдох!» Нас били, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре коммуняки на первых порах. Но я, молодой среди вас человек, но старый солдат, четвёртый год в седле, а не под брюхом коня – слава Богу! – и знаю, что живая кость мясом всегда обрастёт. Вырвать бы загнившую с корнем, а там и германцу зубы посчитаем. Вернём Украину и все другие земли, что продали врагам красные. Тяжёлыми шагами пойдём, такими тяжёлыми, что у Советов под ногами земля затрясётся. И вырвем с корнями повсеместно эту мировую язву, смертельную заразу.

Ротмистр умолк, сорвав на самой верхней ноте голос, откашлялся в кулак и сказал тихо, проникновенно:

– И вы, мужики, услышите нашу поступь... И до вашей деревни долетит гром победы...

Слушали его с усиленным вниманием – кто с интересом, кто недоверчиво, кто угрюмо.

И это не ускользнуло от острого взгляда ротмистра Сапрыкина.

– Так ить, кому что, а шелудивому баня, господин офицер, – раздался голос из толпы. –

Вы насчёт земли скажите – чья она теперь...

– А вам что, красные землю посулили?

– Так ить, не только посулили, а и раздали...

– Ты что, сволочь, тоже красный? – глаз ротмистра зловеще задёргался.

Он шагнул вперёд и остановился перед худо одетым, но ладным из себя мужиком с копной огненно-рыжих волос и пронзительными, дикого вида глазами.

– Чей?

– Баландин... Василий... Петров сын...

– Ты что это, Василий Баландин, агитацию здесь разводишь? Думаешь, я тебя долго убеждать буду? По законам военного времени суну в петлю, как врага Отечества – и вся политика. Уяснил?

Баландин не шевельнулся. Вначале он слушал, медленно краснея, неотступно глядя в синие ротмистровы глаза, блестящие тусклым стальным блеском, а потом отвёл взгляд, и как-то сразу сероватая бледность покрыла его щёки и подбородок, и даже на шелушащихся от загара скулах проступила мертвенная, нехорошая синева. Превозмогая сосущий сердце страх, он с хрипотцой в голосе сказал:

– А мне без земли хуть так петля, хуть этак... Вы ведь, господин хороший, без шашки тоже не ахти какой воин...

– Ну, хватит! – сам себе сказал ротмистр и, оглянувшись, приказал, – Кутейников, быстро в дом за лавкой, а этого... взять!

Вслед за подхорунжим в саду показался отец Александр. Он был взволнован и, говоря, жестикулировал:

– Господин ротмистр, остановитесь, прошу вас! Ради Бога, не берите греха на душу. Какая агитация? У нас в деревне один он такой, с порчиной в голове. Какой он красный, господин ротмистр, скорее Краснёнок, потому что дурак.

Когда два дюжих кавалериста гнули Баландина к лавке, он успел схватить одним безмерно жадным взглядом краешек осеннего солнцем неба, а теперь совсем близко от его щеки колыхались синие стебельки полыни, а дальше, за причудливо сплетенной травой вырисовывались солдатские сапоги.

Он не оправдывался, не рыдал, не просил милости, он лежал, прильнув пепельно-серой щекой к лавке, и отрешённо думал: «Скорей бы убили, что ли...».

Но когда первый удар рванул кожу возле лопатки, он сказал угрожающе и хрипло:

– Но-но, вы полегче... плётками машите.

– Что, неужто так больно? – с издевкой спросил подхорунжий. – Терпеть-то нельзя?

– Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь, потому и не вытерпливаю, – сквозь стиснутые зубы процедил Баландин, крутя головой, пытаясь о плечо стереть катившуюся по щеке слезу.

– Терпи, мужик, умом набирайся, – подхорунжий смотрел в гримасничающее лицо с явным удовольствием и к тому же ещё улыбался мягко и беззлобно.

– Да уж не от тебя ли учиться, ирод?

Но тут офицер сказал что-то коротко и властно, и удары кавалеристских плёток дружно зачастили, будто злым ненасытным пламенем лизали беззащитное тело, добираясь до самых костей.

– Сука ты, плешивая! Чёрт лысый, поганый! Что же ты делаешь, паразит! – надрывая глотку, ругался Василий Баландин, – Ох!.. Попадётся вы мне под весёлую руку. Ох!.. Не дам я вам сразу умереть.

Он чувствовал, что быстро слабеет от истошного крика, но не мог молчать под сильными и частыми ударами.

– Не желаю быть под белыми!.. К чёртовой матери!.. Господи, Боже мой, как мне больно!..

Он ещё что-то кричал, уже несвязное, бредовое, звал матушку, плакал и скрипел зубами, как в тёмную воду, погружаясь в беспмятство.

– Кончился Илья Муромец! – хрипло произнёс Кутейников и, опустив плётку, повернулся к ротмистру.

Тот никак не мог оправиться от охватившего его волнения: щёку подёргивал нервный тик, руки, опущенные вдоль туловища, дрожали. Всеми силами старался он подавить волнение, скрыть дрожь, но это плохо ему удавалось. На лбу мелким бисером выступила испарина. Боясь, что голос его подведёт, махнул подхорунжему рукой.

Очнулся Баландин от толчков и дикой боли, огнём разливавшейся по всему телу. Он с хрипом вздохнул, удушливо закашлялся – и словно со стороны услышал свой тихий, захлёбывающийся кашель и глубокий, исходящий из самого нутра стон.

Он слегка пошевелился, удесятерив этим слабым движением жгучую боль, и только тогда до его помраченного сознания дошло, что он жив. Уже боясь шевельнуться, спиной, грудью, животом ощущал, что рубаха обильно напитана кровью и тяжело липнет к телу.

Снова кто-то толкал и тербил его. Василий подавил готовый сорваться с губ стон. С усилием размежил веки и сквозь слёзную пелену увидел близко крючковатый нос и лысину подхорунжего. Кутейников освобождал его руки от пут, заметив устремлённый на него взгляд, сочувственно похлопал Баландина по локтю.

– Та-а-ак, – протяжно сказал он, – Отделали мужика на совесть. Околечили малость, вот сволочи, а?

Василий раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряжённо вытягивая шею, подёргивая головой. Заросший мелким рыжим волосом кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные хриплые звуки бились и клочкотали в горле.

Оцепенение с толпы спало. Василия Баландина окружили мужики, помогли подняться, сунули к распухшим губам ковш воды. Он глотал её мелкими судорожными глотками, и уже после того как ковш убрали, он ещё два глотнул впустую, как сосунок, оторванный от материнской груди.

Ротмистр дал команду седлать коней. Он чувствовал то головокружительно неустойчивое состояние души, при котором был способен на любое крайнее решение – либо перепороть всю деревню, либо повалиться в ноги мужикам, вымалить прощение.

Отъезжали молча, не прощаясь.

За спиной приглушённо напутствовали:

– Защитнички... мать вашу... чтоб в конце могилой стала вам путь-дороженька.

Из под копыт лошадей за клубилась серая пыль. Солнце закрыла продолговатая туча, потянул ветерок, стало прохладнее.

Колчаковщина

*Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно,
если бы борьба предпринималась только под
условием непогрешимо благоприятных шансов.
(К. Маркс)*

Хмурым февральским вечером 1919 года в Табынышу въехал конно-санный казачий отряд. Копыта гулко отбивали дробь, полозья пронзительно визжали слежавшимся снегом. Расположились в центре у коновязи, выставили охрану и по двое, по трое двинулись в обход по избам.

Вошли с мороза в тепло Кутеповской избышки, торопливо и сильно хлопнув дверью так, что где-то под матицей ухнуло, и к спёртому воздуху жилья подмешался тонкий запах трухлявой древесной пыли. Огляделись в неярком свете керосиновой лампы.

Ладная собой, но в рваной, лёгкой одежке девушка испуганно подскочила из-за стола, широко раскрытыми глазами молча озираала казаков. Один из вошедших был могуч – грудь дугой, подпёрта животом. Другой – мрачноватый и раздражительный, с длинным морщинистым лицом, на выпиравших скулах синели оспины.

– Добрый вечер, хозяйева, – рявкнул он. – Мужики в доме есть?

В углу что-то зашуршало, выпрыгнул чёрный котёнок. На русской печи шевельнулась чёрная занавеска. Выделяясь белым лицом, на пол сползла старуха в подшитых валенках под длинной ситцевой юбкой. Глаза прищурены, платок сполз, из волос выпала на плечо гребёнка, и седая прядь повисла вдоль шеи. Старуха как-то осторожно дышала.

Не дожидаясь ответа, мрачный казак оборотился к вешалке, потом, приподняв занавеску, заглянул на печь, повертел головой туда-сюда, оглянулся на товарища и недоумённо пожал плечами.

Тот подступился с расспросами:

– Вдвоём что ль живёте, мать?

Старуха уже прошествовала через избу, оттёрла девушку в угол и села на лавку, выложив на столе сухие желтоватые руки.

– Вдвоём... С внучкой Фенечкой, – шепелявый голос её был похож на сдержанный смешок, и глаза светились покоем и любопытством человека, у которого даже разбойник ничего не отымет, потому что ничего и нет.

– Внучка не обижая? – оглаживая девушку прилипчивым взглядом, спросил грудастый.

– Слава Богу. Вот ухаживает за мной, – старуха ласково поднесла увядшую слабую руку к густым Фенечкиным волосам.

Ну, пошли... чего тут. Всё ясно, – заторопился мрачный и, шагнув в тёмные сени, оставил открытой дверь.

Холодный воздух волной пошёл понизу. Грудастый, с сожалением взглянув на девушку, вышел.

– Чегой-то они, баб, а? Мужики им понадобились... – голос у Фенечки был грудной, сильный и напевный, в такой тональности мать баюкает ребёнка, иль жена ворчит на любимого супруга.

Старуха Кутепова с малолетства пестовала внуку – сложил голову на японской зять, а дочь в том же году душу отдала, застудившись насмерть. Теперь, когда девка заневестилась, а собственные хвори иссушили тело и болезненно обострили чувство одиночества, бабка безошибочно подмечала любой порыв молодой души и обидой на неблагодарность её питала собственное самолюбие.

– Так ить, война мужиков повыбивала – новых подавай, – недавний сон её будто рукой сняло, и теперь она (Фенечка по опыту знала) будет сидеть в одной позе, чуть раскачиваясь, тараща глаза в полумрак, изредка роняя фразу, будто подводя итог долгим умозаключениям.

– Вот и Федьку тваво заберут, – спустя некоторое время, выговорила она.

– Федьку? – Фенечка опустила на колени вязание, – Федьку? Так ему, поди, ж рано ещё. А, баб?

Но старуха не горазда была на скорые ответы. Девушка взглянула на неё раз, другой, заёрзала на лавке, запоглядывала на окно и вдруг, бросив на стол клубок со спицами, сорвалась к печи, сверкнула крепкими икрами, доставая валенки и шубейку.

– Баб, я щас, – зажав в руке платок, выскочила из избы.

Их развалюха и крепкое хозяйство Агарковых примыкали задами. Утоптанной в снегу тропкою, мимо колодца на меже, в заднюю калитку с накидным лозовым кольцом на столбике, и вот она уже во дворе, под заледенелым и чуть блестящим от внутреннего света окном. Фенечка ощупью пробралась тёмными сенями, поставленными позднее, вприруб к большому domu (оттого и сохранились высокие ступени, ведущие в избу), потянула дверь за скобу.

Просёдая голова на жилистой шее повернулась к порогу, карие глаза пытливо вглядывались в вошедшую. Глава семьи Кузьма Васильевич Агарков ладил заплату на детский валенок, сильные мозолистые ладони перепачканы дёгтем, и его запах густо наполнял кухню.

– Дядя Кузьма, казаки по избам мужиков ловят, в колчаковщину забирают, – еле переведя дух, выпалила девушка.

Фенечку в этом доме не любили. Кузьма ругал за неё старшего сына последними словами. Федька грозился уйти из дома. Мать, Наталья Тимофеевна, плакала и кляла за «присуху» колдунью Кутепиху. Девчонки жалели Федьку и мать и верили в справедливость отца. Всё это с удовольствием рассказывала четырёхлетняя болтушка Нюша. Фенечку обижало не презрение к её бедности, а неверие в её трудолюбие, хозяйскую сметку.

На её голос в дверях горницы показались девичьи головки – одна, другая, третья... не сочтёшь, мал-мала меньше, глазёнки горят любопытством, губы кривятся усмешками. С печи свесилась чубатая Федькина голова, а следом восьмилетний Антон высунулся из-под руки. После звучных шлепков девчоночьи головы пропали, а из горницы – живот вперёд – утицей выплыла беременная Наталья Агаркова. Быстрый и тревожный взгляд на Фенечку, Федьку, мужа. Тот пожал плечами, нервно покусал губы и сказал:

– Ну-ка, сынок, быстро собирайся... Отсидишься, где пока... Мож в хлеву... От греха.

Федька мигом свесил с печи босые ноги, но, передумав, скрылся за занавеской и, громко пыхтя, лёжа одевался. На пол он спрыгнул уже собранный по-уличному, только без шапки, и скрёб пятернёй в затылке, вспоминая, куда её закинул.

Во дворе послышались злобное собачье повизгивание, чужие тяжёлые шаги. Вошли трое и среди них грудастый.

– Ага, готов уже, – схватил он Федьку за ворот полушубка, – Ну, пойдём, пойдём, солдатик.

– И ты здесь, краля, – он повернул голову к Фенечке, – Жениха провожаешь?

Пьяно подмигнул, будто приглашая её за собой в тёмные сени. И Фенечка пошла, и лишь дверь заслонила свет избы, попала в тяжёлые объятия казака. Мокрый рот впился в её губы. От усов пахло табаком, луком и ещё чем-то противным, отчего у девушки перехватило дыхание.

Федька, почуяв свободу, выскользнул во двор и через распахнутую калитку – на огород.

Казак, не сразу сообразив, оттолкнул девицу и, набычившись, ринулся на мороз. Резко грохнул выстрел, зашуршав, ухнул снег с крыши. Через минуту, остервенело ругаясь и отряхиваясь на ходу, в избу мимо сжавшейся в тёмном углу Фенечки протопал грудастый.

Кузьма, загородясь рукой, пытался от не прошенных гостей:

– Меня и в германскую не брали... многодетный я. На кого оставлю?

И Наталья вторила ему, заслонив собой вход в горницу:

– Какой он солдат? Большой весь. И как я одна с такой оравой?

Казачи хмуро подступали:

– Наше дело телячье. Там разберутся. Разберутся и можа отпустят.

Грудастый, ворвавшись, растолкал товарищей и ударом кулака сшиб Кузьму на пол.

– Да чего вы тут сопли развесили? Вяжи его. Тот убёг, сучонок. Ну, Бог даст, недалеко.

Падая, Кузьма сбил подвешенную лампу, и она, пыхнув голубоватым пламенем, потухла, погрузив избу в темноту. На полу, пыхтя и ругаясь, возились мужчины, в горнице плакали девчонки, голосила Наталья. И слыша, что Кузьму волокут к дверям, крикнула:

– Хоть одеться дайте человеку, ироды-ы!

Мужиков увезли в ночь. А на утро пришёл слухок, что в петровской церкви будет молебен, а потом общая отправка на фронт.

Управившись по хозяйству, Наталья засобиралась в дорогу. Контуженый австриец Иоганн Штольц заложил в ходок Меренка. День по всем приметам обещался быть погожим.

Когда выезжали, туманом крылся горизонт, а в Петровке были – солнце круто ползло в зенит, умудряясь и в добрый мороз давить с крыш сосули. Над церковным куполом галочий грай, а перед ней на площади толпится народ.

Да где же мой-то, потеряно думала Наталья, встречая знакомые и незнакомые лица. И увидала. В чёрной овчине – укороченном тулупе, в собачей шапке стоял её Кузьма Васильевич, лицо бледное, узкое, по щекам вниз две длинные морщины, а серые глаза печальны и растеряны.

Обнялись, трижды накрест расцеловались.

«Бабы... – думал Кузьма, вглядываясь в дорогие черты Натальино лица. – В сердце каждой скребутся заботы о доме, о своих мужиках, детях, скотине. И какая из потерь горше, кто знает? С бедой, говорят, нужно ночь переспать, а там отхлынет».

– Федька-то? – переспросила Наталья и махнула рукой куда-то в сторону, – Убёг... И мне не кажется.

– Ты, мать, сильно-то не надрывайся. Нажили хозяйство и ещё наживём, было бы здоровье. Детей береги, а пуще этого, – он коснулся ладонью её выпирающего живота. – Мальчишка будет – кормилец твой до самой смерти.

Разговор не слагался, и затянувшееся прощание становилось в тягость.

В соседнем дворе ладная бабёнка шустро управлялась по хозяйству, то и дело оголяя белые икры. Она вылила из бадьи тёмную, исходящую паром бурду. Два поросёнка, оттирая друг друга, тыкались носами в корыто, громко чавкая, вокруг суетливо вертелись куры.

Проследив мужнин взгляд, Наталья ревниво дёрнула его за рукав:

– Ты что, поросят никогда не видывал?

Кузьма грустно усмехнулся своим мыслям.

Кликнули сбор, заголосили бабы. И от белой церковной стены покатила судьба Кузьму Агаркова навстречу войне.

В челябинских казармах новобранцев сводили в баню, переделали в солдатское обмундирование. Потом пошла муштра. День за днём, в мороз ли, в пургу, гоняли их по плацу – учили ходить строем, петь хором, стрелять из винтовки, колоть штыком.

Вечерами, лёжа на хрустящем соломой тюфяке, Кузьма вспоминал Натальино постельное бельё, которое стирала она в корыте, на ребристой доске, раскатывала рубелем, намотав на большую скалку, и отглаживала утюгом, разогретым древесным углём, и, когда стелила потом, обычно после баньки, оно хрустело, пахло летним садом или свежестью изморози.

С женой ему бесспорно повезло. Когда двадцати с небольшим годов выходил на самостоятельную дорогу, брал её, как kota в мешке, по одной приглядке да с чужих слов, что «работя-

щая и негулящая». И приятно был удивлён, увидев, как безропотно, без понуканий впряглась она в тяжёлый воз быстрорастущего хозяйства.

Начинали, как говорится, ни кола, ни двора. И вот уже красуется на всю деревню большой дом, как игрушка. К нему – три амбара с хлебом, двенадцать лошадей и прочая всякая крестьянская живность и утварь. Меж трудов родили десятерых детей. Старший – Федька – в хозяйских делах уже полный мужик, и девчонки сызмальства к труду приучены.

В пятнадцатом году пристал к семейству Агарковых пленный австрияк Ванька Штольц, контуженный на фронте, не помнящий ни родства, ни Родины. В делах нетороплив, но силен и вынослив, как бык.

Крестьянский труд тяжёк, а глаза у Кузьмы Агаркова завидующие. Своей земли мало, так присмотрел до двадцати десятин у казаков за двадцать с лишним вёрст. В страду вставляли с первыми петухами и, громыхая телегами по спящей деревне, отправлялись на арендованный клин. До полудня жали, вязали снопы и, нагрузив возы, отправлялись домой. И так изо дня в день, изо дня в день. Каторжный труд! Тяжело будет Наталье одной.

Кузьма ворочался, вздыхал, невесёлые думы переполняли голову.

Как странно устроен мир – дома дел невпроворот, и вроде бы все срочные, боишься истратить лишний час на что-нибудь, но едва уезжаешь куда-нибудь, как всё отодвигается, теряет свою значимость, а, вернувшись, обнаруживаешь, что ничего особенного не произошло, неотложное спокойно ждало его возвращения.

С этим, успокоенный, и засыпал.

Казарменная жизнь оборвалась неожиданно. Запахнули новобранцев в теплушки и повезли на запад, на фронт. Проехали горы, поезд несся по равнине, отстукивая вёрсты и время. Иногда обрушивался встречный грохот, и снова возвращался привычный, казавшийся тихим, перестук под вагоном. Потеряли счёт вокзалам.

Высадились ночью на безлюдном полустанке, сразу же в сани и обозом через лес. Он сжимал дорогу с двух сторон – тёмный, мягко опушенный снегом, беззвучно падавшим с ветвей от малейшего дуновения. Из сугробов чёрными прутьями торчали промёрзшие до хруста кусты. Мороз крепчал. В чистом чёрном небе дрожал яркий звёздный свет, и большая белая луна в радужных кольцах спокойно плыла над землёй.

Обоз ехал всё дальше и дальше.

За полночь остановились на роздых в мордовском селении. Разбрелись по избам, приказали хозяевам накрыть на стол. Сели вечерять.

Втянув носом воздух из жестяной кружки, Кузьма ощутил мерзкий запах самогона, от которого дёрнулся кадык, и с отвращением подумал, как трудно будет одолеть это пойло.

– Пей, пей, не косороться, – сипло сказал солдат, нарезая сало большими ломтями и складывая их в центр стола, где уже лежали кучкой маленькие луковицы и длинные, пустые внутри солёные огурцы, варёные яйца.

Все остальные новобранцы, торопливо жуя, с нетерпением смотрели на единственную кружку незатейливого застолья. Хозяева попрятались по своим норам. Разморенные усталостью, теплом, едой и выпивкой, солдаты, неторопясь, вполголоса вели беседу.

– Был бы кто свой здесь, убёг бы сейчас, не задумываясь, – говорил сиплый, выпуская изо рта густые клубы табачного дыма и втягивая их носом.

– А я так думаю, – встрял подхмелевший Кузьма, – фронт на восток катится, буду отступать до родных мест, а там и дам дёру.

Хмель, согрев тело, закружил голову. Поглядывая на товарищей, Кузьма чувствовал, как всё больше ему нравятся эти прямодушные мужики, толковые в словах, и крепко, по всему видать, любящие своё крестьянское житьё.

Проснулись засветло. Но не от ярких солнечных лучей, ломящихся в низенькие окна, а от дружной пулемётно-винтовочной пальбы и канонады. За ночь красные окружили село со всех сторон, выкатили на пригорок пушки и теперь прямой наводкой палили по избам.

Наспех одевшись, выскакивали на мороз. Кузьма на мгновение замер у калитки, прикидывая, где укрыться от дружного посвиста пуль. Беззвучный всплеск короткого белого пламени резанул глаза, что-то с треском хлестануло по воротам, плетню, дробным стуком ударило в бок и швырнуло Кузьму наземь. Вслед обрушился на мир грохот разрыва.

Агарков попытался освободить нелепо подвёрнутую и придавленную телом руку, но конечности уже не слушались его. Он хотел закричать, но голос его сорвался, забулькал в горле и захлебнулся чем-то вязким и солёным. Спустя несколько мгновений чёрная тень навсегда заслонила белый свет от Кузьмова взора.

Отступать до Табыньши оставалось новобранцу Агаркову без малого тысячу вёрст.

Дезертир

*Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе.
Лишь бездарный покоряется судьбе.
(А. Кунибаев)*

Лунная серебристая ночь окутывала дремой Табыншыу. Избы, вытянувшиеся вдоль берега уснувшего подо льдом озера, глубоко зарылись в снежные сугробы. Мороз крепчал. Тишину изредка прерывал сухой треск плетня и неподвижных тополей, могучими корнями уцепившихся за подмытый водами крутояр. В голубом свете смутно вырисовывались горбатые скирды под белыми покрывалами. Затихли по дворам собаки. Нахолодавшие за день и большие, и малые грелись на полатах, лежанках, кроватях под одеялами, тулупами у жарко натопленных печей.

Федька дрог в сырой кутеповской бане. Он сидел на полу близ очага. От грязи и сырости кожа на руках обветрилась, и они мучительно ныли. С низкого прокопченного потолка изредка капало на голову и за шиворот. Огонь в каменке почти совсем догорел. Последние огоньки перебежали по тлеющим в золе красным углям.

Весь мир заснул. Не спал Федька, поджидая Фенечку. Не спала Фенечка, сидела с шитьём и напряжённо смотрела чёрными глазами, как неторопливо отходит ко сну бабка.

Наконец старуха утихла за пёстрой занавеской на печи. Девушка поднялась и, бесшумными кошачьими движениями снуя по избе, засобиравшись на улицу. В старый платок завязала отложенные заранее хлеб, лук, сало. Прислушалась, приставив ухо к самой занавеске, к похрапывающему дыханию на печи и юркнула в сени.

Легко пробежала огородом, нырнула в полумрак бани и бросилась милому на шею:

– Всё боялась, не успею, не застаю тебя. Ну, зачем ты уходишь? Остайся, казаки ведь уехали.

– Не могу, пойми ты, – волнуясь, Федька стягивал с Фенечки одежду. – Дезертир я теперь. Поймают – сразу шлёпнут. Дома появлюсь, а вдруг кто донесёт, тогда и мамку потянут за укрывательство. Нет, никак нельзя мне в Табынше оставаться. Пойду в Васильевку, там у нас свои, но меня там не знают. Прикинусь батраком контуженным, как Ванька Штольц, глядишь, и пережду лихое время. Ты и мамке так обскажи.

Ласкал её в последний раз, всё более распаяясь.

– Война кругом идёт, – рассуждала Фенечка, едва переводя дыхание от бесконечных поцелуев, – На дорогах казачьи разъезды. Люди там чужие, может злые. Как встретят? Не ходи, Федь.

Её лицо всегда весёлое, с ямочками на щеках за эти несколько тревожных дней и бессонных ночей побледнело, осунулось, под глазами легла синева. Ещё бы! Сколько было радостных разговоров о будущей общей жизни, своём доме, хозяйстве! А теперь из-за этой проклятой войны, страшных казаков все мечты разлетаются, как испуганные птицы...

А вдруг Федька не вернётся? Что тогда с ней будет?

Федька чувствовал, как немеет рука под Фенечкиной головой, но долго не решался шевельнуться. Он выжидал, оттягивал минуту расставания, с нежностью вглядываясь в её лицо в неверном свете луны. Наконец соскользнул с полка и, осторожно ступая, собрался в дорогу. Он был готов идти, когда услышал её шёпот:

– Провожу тебя за околицу.

Ночь потемнела. На небе мерцали редкие звёзды. Где-то завывла собака, другая ответила ей. Тяжёлое предчувствие сдавило Фенечке сердце.

Остановились.

Хмурый, сдвинув брови, вглядывался Фёдка в сизую туманную даль, где чернели голые берёзовые рощи. Низкие, редкие серые тучки медленно плыли над пустынной землёй, разгоня над сугробами лунную тень. За полями, за рощами лес сбивался в сплошной массив и тянулся далеко на юг, как говорили мужики, до самого Троицка-города. Сквозь эти чаши зимой можно ходить только звериными тропами, зная приметы и заговоры. Этими путями ходят и лесные чудища, лешие да кикиморы.

Фёдка поцеловал в последний раз Фенечку:

– Передай матушке мой низкий поклон. Чести, скажи, своей не обмарая и на Колчака служить не пойду. А буду я в Васильевке, у крёстного её, дядьки Ивана Назарова. Запомнишь?

И резко повернувшись, пошёл целиком, через засыпанное снегом поле.

Фёдка шёл на закат. Наверное, это была его ошибка, что не выбрал сразу накатанный путь, пошёл глухоманью, опасаясь встречи с казаками. Леса кругом стояли непролазные, густые, поляны похожи одна на другую. Снегу было по колено, а то и по пояс.

Остаток ночи растворился, новый день клонился к закату – жильём и не пахло. По его расчётам где-то за спиной остались и Васильевка, и Мордвиновка, но он шёл вперёд, боясь свернуть и заблудиться.

Вот и закат догорел. Фёдка совсем потерял направление и брёл из последних сил, повинаясь одному лишь желанию – идти там, где легче. Думы безрадостные, порой нелепые осаждали голову.

Он представлял себя нищим – искателем правды. Вот он ходит по дворам и неторопливыми умными речами раскрывает людям глаза на житьё-бытьё, и кормится чужой милостью. Нет у него большого дома с отцом, матерью, нет брата и сестёр – всё улетело, как подхваченный ветром пучок соломы.

Вскоре наступила ночь и всё затянула густой паутиной. Багровая луна стала медленно подниматься из-за деревьев. Тихо в дремучем зимнем лесу. Лишь изредка – треск мороза в стволах да шорох упавшей с ветки снежной шапки. Жуткий страх схватил за горло Фёдкину душу. Где, под каким кустом окончится его жизненный путь? У какой берёзы найдут по лету грибники его бездыханное тело? Или, быть может, волки растащат по косточкам?

Мороз гнал из тела усталость, и Фёдка всё шёл и шёл вперёд, теряя счёт времени и вёрстам. И вдруг...

На глухой лесной полянке среди наваленного грудями хвороста поблёскивал небольшой костёр. Два мужских голоса задушевно выводили «Лучину».

В паузе кто-то сердито проворчал:

– Распелись не к добру.

– Чем песня плоха?

– Ну, как услышат.

– Кто ж сюда доберётся – в глушь да лихомань?

– Всё одно – какое нынче пение....

– А почему не петь?

– У меня вон в брюхе с голоду поёт, – не уступал сердитый молодой голос.

– Ишь ты, – у костра засмеялись, – шти про тебя ещё не сварены.

– Ничего, – покрыл всех спокойный бас, – Как закипит вода, муки сыпанём – болтушки похлебаем. Жаль только соли нет.

– Да и муки-то последняя горсть....

Разговоры разом оборвались, когда Фёдка вышел на свет костра. Вокруг него сидели четыре молодца – из тех, кому ни мороз, ни снег, ни метель-пурга, ни ведьмино заклятье – всё нипочём. На жару в глиняном горшке готовили похлёбку, а теперь рассматривали подошедшего невесть откуда парня. Фёдка – роста вышесреднего, статный и широкоплечий, со спокойным видом и прямым взглядом стоял перед ними.

Молодой голос хмыкнул:

– Вот и мяско подвалило.

Высокий и тощий, строго зыркнув на приятеля, знакомым уже баском спросил:

– Из далёка будешь?

– Из Табыньши. Не найдётся ли у вас, люди добрые, места у огня? Замороченный я.

– В таком лесу – плёвое дело, – согласился другой, низкий и круглый, жмуря красные слезящиеся глаза.

– Мне бы поесть чего...

– Ладно. Садись к костру. Может и для тебя чего найдётся.

Федька подсел к огню, где на жару шипел закоптелый глиняный горшок.

– Чего варим?

– Али не видишь?

Представились.

Новые знакомцы назывались чудными какими-то именами-кличками. Басовитый сказался Попом, толстяк – Душегубом, молодой верзила – Мальком. Все по виду и разговору – городские. И лишь четвёртый, угрюмого вида, заросший волосами по самые глаза, деревенского склада мужик – Иваном Тимофеичем.

В разговорах не таились, и вскоре Федька к страху своему убедился, что перед ним не самые добрые люди, которых можно встретить ночью в такой глухомани. Но отступить было поздно, да и некуда. И чтобы уравниаться с ними в грехах перед законом, рассказал о себе.

– Ну, Агарыч, видать, с нами тебе дорога, – участливо покачал головой Поп.

Мороз усиливался, лёгкая снежная пыль закуржавилась над землёй и засыпала сидящих. Федька протянул озябшие ладони к огню и немигающими глазами смотрел на перебегающие по сухим сучьям языки костра. В лесу было тихо, и можно не спеша вести беседу.

Поп неторопливым баском своим уговаривал товарищей податься в Челябину, где и затеряться проще в толпе и сытней, должно быть, жить вёрткому человеку. Впрочем, ему никто не возражал, только мрачный Иван Тимофеич всё отрицательно иль осудительно покачивал головой, но молчал.

Прошла половина ночи.

Усталость брала своё. Глаза у Федьки начали слипаться, незаметно подкрадывался сон. Полная яркая луна светила с беззвёздного неба. Быстро плыли облака. Словно зацепившись за острый край, они закрывали её на мгновение и летели снова дальше.

Иван Тимофеич озабоченно покачал головой:

– Скоро пурга будет.

– Метель поднимется, – подтвердил Душегуб.

– Пурга нам на руку, – сказал Поп. – В деревне-то нас и не приметят.

И поднял на Федьку пытливый взгляд:

– С нами пойдёшь или здесь заночуешь? Хотя мы, может, и не вернёмся сюда снова.

Федька Агарков по разговорам бродяг понял, что замышляют они какое-то тёмное дельце, ему было до слабости страшно, но он всё-таки решительно сказал:

– С вами пойду.

– А топор в руках держать умеешь иль у мамки под юбкой рос? – с насмешкой спросил Малёк, разминая затёкшие ноги вокруг костра.

Облака закрывали луну, и лес тогда сразу погружался в сумрак. Бродяги гуськом медленно продвигались вперёд, держась ближе друг к другу, ступая след в след. Шли, по колено проваливаясь в слабонастный снег.

Пурга разыгралась внезапно. Лес вдали начал гудеть, посыпался снег с верхушек деревьев. Ветер принёсся с пронзительным свистом, подхватывал и уносил вороха снега и снова

подкидывал. Вскоре отовсюду уже слышался непрерывный гул, скрип, треск ломающихся веток, и порой – грохот падающих стволов.

– Не отстава – ай! – кричал Поп.

Идти становилось всё труднее. Колючий снег бил и обжигал лицо. Ветер захватывал дыхание.

– Эй, Малёк!.. Агарыч!.. Не отставай! – глухо доносились перекликающиеся голоса.

Бродяги шли долго, упорно пробиваясь сквозь бурю, боясь отстать. Знали, что гибель ждёт того, кто затеряется в дремучем лесу.

Наконец передовой Иван Тимофеич сказал:

– А теперь – тихо: Перевесное рядом.

Перевесное? Так вот он где заплутал, думал Федька. В сторону упорол от Васильевки-то....

Бродяги остановились на опушке леса, напряжённо всматриваясь. Впереди копнами чернели избы, повеяло жилым духом. Поп, притушив бас, отдавал приказания. Бродяги внимательно слушали его, кивая головами, потом стали крадучись пробираться к огородам.

Федьку оставили у плетня, наказав дать знак в случае чего. У него от страха и возбуждения тряслись руки, и, оставшись один, он готов был бежать в ближайший дом поднять хозяев, остановить святотатство, но не побежал, а с нетерпением поджидал бродяг, волнуясь за их успех. Азарт риска гнал холод, и Федька терпеливо томился у плетня, вращая в сугроб.

Появились бродяги, тяжело дыша. На спине у Малька громоздилась овечья туша, широко раскачивая надрезанной головой, оставляя за собой кровавый след.

– Скорее в лес! – хрипел Поп. – Уносим ноги, пока всё спокойно. Скорей, соколики, скорей!

Вьюга усиливалась. Метель непрерывно заметала следы снегом. В её тягучем завывании порой чудился, накатываясь сзади, собачий лай. Бродяги спешили уйти подальше от Перевесного, и с ними вместе Федька Агарков, у которого ещё кружилась голова от сосущего душу страха за совершённое преступление, но уже родилось и постепенно крепло «будь, что будет», и он уже не боялся запачкаться в крови, неся баранью тушу, когда наступала тому очередь.

Буря бушевала трое суток, не переставая. Ветер то вдруг утихал, беря передышку, то вновь усиливался, гудел в вершинах деревьев, в проводах столбов вдоль дорог, наносил вороха лёгкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагромождённые сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах пушистые холмы. Сплошное белое покрывало задёрнуло начавшие было чернеть впродверье весны поля с низкими кустарниками.

Всё живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся стихии. Горе бездомному человеку! Не приведи Господь, очутится об эту пору без тепла и крыши над головой. Немало по весне откроется из-под снега замёрзших одиноких путников – «подснежников».

Но Федьке с товарищами повезло – в тот самый час, когда пурга утихла совсем, входили они на окраину Челябинска.

Вольготная городская жизнь для Федьки Агаркова была недолгой – на вокзале в облаве потерял своих друзей, а сам угодил в «каталажку». Допрашивал его следователь, аккуратный такой, чиновного вида человек с большими зальсынами и выпуклым лбом. Несколько недель Советской власти в Челябинске вытрясли из него нестойкие политические убеждения, и он без душевной борьбы и сомнений принял нейтралитет, готов был предложить свои услуги любому режиму.

Знаток дела считал себя не зря. И, ловя убегающий Федькин взгляд, слушая его сбивающуюся речь, думал: «Врёт, каналья, всё врёт, от первого слова до последнего. Да ну я сейчас его достану».

– Всё-всё так, я верю, готов поверить, но бездоказательно, – следователь поднялся из-за стола, прошёл по комнате, достал из массивного тёмного шкафа пухлую папку подшитых

бумаг, – А вот послушай, парень, теперь гольную правду о себе – мы-то всё знаем, и записано тут....

Он полистал документы чьего-то уголовного дела.

– Фёдор Конев.... Смотри-ка, даже имя не изменил – наглеешь, брат. Кличка – Саван. От роду – девятнадцати лет, роста вышесреднего, глаза голубые, черноволосый, особых примет нет.... Нет, есть – нос сломан в драке и смещён вправо.

Следователь делал вид, что читает это с подшитого в папке листа, на самом деле рисовал Федькин портрет, насмешливо приглядываясь к нему.

– Вот так-то, братец Саван.... И всё это мне не придётся доказывать. Я только пошлю запрос в твою деревню.... Как ты её назвал? Воздвиженка? И если от тебя откажутся, то трибунал и «вышка» тебе обеспечены.

– Ты только послушай, что за тобою пишется, – он с удовольствием, сохраняя, однако, участливый вид, измывался над растерявшимся Федькой, – Грабеж,... грабёж. Ай-яй-яй! Убийство. Старуху-проценщицу со родственницей топором. Ну, что скажешь, Саван, или как там тебя?..

Когда за Федькой закрылась дверь, следователь не спеша прибрался на столе и, покрутив ручку телефона, связался с гарнизонной тюрьмой.

– Ваш, вашего сада фрукт, – убеждал он кого-то скучным голосом, – Дезертир. Нет не политический – деревня дремучая. У меня на таких нюх.

В тот же день Федьку перевезли в гарнизонную тюрьму и поместили в одиночную камеру.

Первым знакомцем на новом месте был надзиратель Прокопыч – пожилой, неторопливый, вымуштрованный, наверное, ещё в Алесандроские времена. Большой нос с горбинкою придавал хищное выражение его худому, костлявому лицу. Из-под нависших густых бровей смотрели мрачные, тёмные, глубоко сидящие глаза. Он часто проводил по густой, чёрной с проседью бороде узловатой сухой рукой.

Прокопыч дважды в день приносил Федьке еду и, усаживаясь на единственном в помещении табурете, подолгу беседовал с арестантом.

– Привезли тебя, паря, с почестью на санях-розвальнях, крытых коврами, на тройке с бубенцами, а шлёпнут тихо и похоронят без музыки. Может даже и без суда-трибунала, потому что дезертир ты, и для таких закон суровый.

Федька в общей камере уголовной тюрьмы кое-чему нахвтался у блатных и, похлебав баланды, скрестя ноги, сидел на нарах, посвистывал и усмехался.

– Нет, дядя, я удачливый. Помилуют. А не захотят, так сбегу. К тебе приду.... в примачи. Нет ли у тебя, дядя, дочки-красы? Я бы запросто женился.

– Что-то, сынок, лицо мне твоё больно знакомо, будто напоминает кого, – с каждым днём всё больше жалел Федьку надзиратель.

И тот рассказал о себе всё без утайки, распахнул страдающую душу до самых глубин.

– Есть у меня знакомцы в твоих краях. Я вот мамке твоей весточку подам – может, и дождёшься, – пообещал Прокопыч.

Суд и расстрел к Федьке не спешили. За узким зарешёченным окном, недостижимо светившемся под самым потолком, жизнь, между тем, шла безостановочно. День сменялся ночью и наоборот.

Однажды в сумерках поднялся ветер, и повалил густой снег. Завыла метель, задрезжали жалобно стёкла. А потом переменявшийся ветер повеял теплом. Остаток ночи и всё утро, не переставая, шёл сильный дождь, неся скорый конец снегам. Наступившая внезапно ростепель затопила мир грязью.

Об эту пору в Челябинск добралась Наталья Тимофеевна. Срок беременности её был на исходе, она рисковала разродиться где-нибудь в дороге, но желание видеть сына, утешить и, может быть, помочь было всеильным.

Однако решимости и воли её едва хватило до первого тюремного начальства. Когда Прокопыч сообщил ей Федыкину вину и возможную расплату за неё, она, вдруг утратив остатки прежней гордости, тяжело повалилась на колени, тыкаясь губами в чужие шершавые ладони, суя надзирателю собранный для Федыки узелок.

Прокопыч остолбенело попятился от неё, пряча руки за спину:

– Что ты, баба! Тьфу, окаянная! Вертайся домой и не надейся ни на что. Нашла царя-батюшку, деревня сермяжная....

Федька на свидании от неожиданности растерялся и долго не мог унять слёз. Обрадовался сапогам и тут же переобулся, отдал матери валенки и полушубок. Наталья Тимофеевна сидела, широко расставив ноги, спустив на плечи платок, говорила, горестно глядя на сына:

– Дома всё хорошо. Нормально. Живы и здоровы, слава Богу. Только вот тятюку вашего убили на фронте. Вдовая я, а вы теперь – сироты.

Наталья Тимофеевна уехала с тяжёлым сердцем, ничего не добившись. А дружба Федыки с надзирателем крепла день ото дня.

– Прут красные. В городе отступающих полно, большинство – раненые, – сообщал Прокопыч новости.

А однажды обнадѣжил и посоветовал:

– В тюрьме начальство сменилось. Смотри, Фѣдор, ушами не хлопай. Если спросят, чего, мол, тут околачиваешься, скажи – был призван в армию, но заражѣн дурной болезнью, по этой причине ссусь, мол, без удержу под себя хожу. В казарме был бит, обмундирование не дали, а посадили в тюрьму. А я поддакну, доведѣтся случай, мол, вонизм от тебя в камере – не приведи Господь.

Спасибо старику – надоумил, выручил! Из тюрьмы Федыку выгнали.

Не попрощавшись, он в тот же день ушѣл из города дорогою в сторону дома.

Солнце, ослепительное и горячее, раскрыло свои бирюзовые ворота и радостно смотрело с небес. Его лучи добрались и до лесных чащ, безжалостно растопляя снега. Прилетели птицы дружными стаями, засвистели, перекликаясь, загомонили, захлопотали с гнѣздами, и не до песен теперь стало. Лишь кукушки-бездельницы щедро обещали долгую жизнь.

Федька за год подрос, сапоги стали малы и сбили ноги. Брѣл он, прихрамывая, опираясь на палку, похудевший с лица, но по-прежнему – коренастый, крепкий, голубоглазый.

Душа на крыльях летела впереди. Фенечка! Вспоминались её ласковая улыбка и грустные речи при прощании, мелкие веснушки на лице, красивый рот.

Федька шѣл, не таясь, заходил в каждое придорожное селение, стучался в каждые ворота, просил милостыню. Где давали, где гнали. Федька всему радовался, за всё благодарил. Свобода!

Как-то на исходе дня повстречались два всадника. Меж ними плѣлся арестованный, без кепки, со связанными за спиной руками. Тѣмные волосы сбились, лицо кривилось от боли. Он с трудом волочил ноги. Казаки свернули с дороги и остановились у колодца.

Федька, заложив руки за пояс, подошѣл к арестованному и долго внимательно всматривался в него. Высокий худой парень в холстяных крестьянских портах, в изодранной рубахе и босой стоял равнодушный и окаменелый, с посиневшим и распухшим от побоев лицом и облизывал гноившуюся в уголке рта рану. Только на миг метнул он внимательный взгляд на Агаркова и опять уставился в одну точку.

Будто ушатом холодной воды окатило Федыку. К нему вернулись прежние страхи. Он сошѣл с большака и лесами напрямки двинулся в Табыншу.

В темноте набрѣл на заимку, таясь от собак, пробрался на сеновал и уснул, зарывшись в прошлогоднюю пахнущую ароматной полынью траву. Проснулся, когда солнце уже рвалось во все щели.

На дворе хозяин собирался в дорогу. Обтёр лошаде́нку пучком соломы, положил на её костлявый хребёт кусок войлока – потник, старательно приладил старое седло и перекинул ремень. Кляча подогнула заднюю ногу и, оглядываясь, пыталась укусить старика за плечо, когда тот затягивал подпругой её раздувшееся брюхо. Потом распутал её передние ноги, вскарабкался в седло и степенно выехал со двора.

Его хозяйка, суетливая старушка, тем временем развешивала на верёвке во дворе раскатанные на лапшу блины теста. Их вид разбудил у Феды́ки нестерпимый голод.

Пока он размышлял – спросить или украсть, шёпот и приглушённый говор за стеной сеновала насторожили его. Он выглянул в щель. У плетня среди лопухов и полыни три человека в отрепьях, с распухшими, в болячках и грязными лицами, подкрадывались к привязанному за столбик телёнку.

По характерным признакам Феды́ка признал в них цыган. Вот сволочи! Что замышляют?

Привязь уже в их руках. Пёстренький недельный телёнок, то упираясь, то обгоняя похитителей, скрылся с ними в лесу.

Феды́ка выбрался из сеновала и пустился вслед за цыганами. Наткнулся на них неожиданно. Те первыми увидели преследователя.

– Не подходи, тварь! – закричал кривой на один глаз цыган, выступая вперёд, держа перед собой окровавленный нож.

Телок уже лежал на спине, широко раскинув лишённые шкуры красные ноги. Бродяги в несколько рук, торопясь, обдирали его. Все были невзрачны и худосочны.

Справлюсь, подумал Феды́ка, отыскивая взглядом палку поувесистей.

– А вы кто?

– Телёнка не вернуть, хозяин, бери себе голову.

Ему бросили в руки отрезанную телячью голову и в тот же миг сбили с ног. Три жилистых мужичонка навалились ему на грудь, ноги. Жёсткие ладони царапали лицо, сдавили нос, пальцы крепко сжимали рот, не давая вздохнуть. Феды́ка забился, стараясь вывернуться, но в горло ему упёрся окровавленный нож.

С него сорвали одежду.

– Лежи, не дёргайся, – кривой натягивал, пристукивая каблуком, Феды́кины сапоги.

Бродяги поделили добытую одежду, ему бросили изодранные, провонявшие нечистым телом галифе и гимнастёрку. Вскоре они скрылись.

Феды́ка слышал топот удалявшихся ног, лежал неподвижно, уткнувшись в ладони. Обида и пережитый страх сотрясали плачем его тело.

На заимку Феды́ка не вернулся, обойдя её стороной.

К исходу второго дня набрёл на кинутый хутор – ветхие избёнки и землянки на берегу небольшого озера. Вокруг густо росли кусты малины и вишни. Жители покидали хутор в спешке – живности и съестного Феды́ка не нашёл, но инвентарь лежал нетронутым на своих обычных местах.

В одной избушке наткнулся на живого ещё, оставленного близкими умирать, недвижимого старика. Он лежал на деревянной кровати, прикрытый лишь куском овчины. Седые расчёпаные космы разметались по подушке. На впалых щеках, покрытых синими пятнами, пушились клочья бороды. Исхудалые руки безжизненно скрещены на груди, а босые ноги распухли и стали круглыми, как валенки, и очень скверно пахли.

На столе у кровати стоял ковш с осевшей на сухое дно плесенью и добрая краюха, сморщенная и затвердевшая до каменной крепости, со всех сторон подточенная какой-то живностью.

Двигаться старик уже не мог, но разговаривал легко и охотно, сохранив глубокую ясность ума.

– Счастливым мамка тебя родила, – приветствовал он остолбеневшего у порога от дикого ужаса Федыку. – Ходишь.... А я вот уже который год лежу. А теперь совсем помирать время пришло.

Говорили они долго. Федыка рассказал о себе, старик свою жизнь.

– Оставили меня... дети, внуки. Ну да, Бог с ними. Сначала сил не было, – скопил он глаза на хлеб на столе, – а теперь уже и не надо. На душе такая лёгкость, вроде как очищение прошёл.... И воды давно не пью, и жажды нет. На небесах я, должно быть.

– Это казак к войне приспособлен, – ещё говорил он, – а мужик всю жизнь в земле копается, драться не любит. От беды и ушли. Фронт катит, а с ним – раззор, а то и смерть. Молодым пожить охота....

Серебряный ободок полумесяца завис над верхушкой ольхи. Ночной ветерок печально поскрипывал покосившейся пустой створой окна. Федыка лежал на голом топчане и слушал тихий шелестящий голос, будто исповедь или наказ с того света.

Солнце поднялось багровым от утреннего тумана. Старик лежал с полуоткрытыми глазами, с бледным вытянувшимся лицом. Рот был приоткрыт, сухие губы утончились.

Федыка долго стоял возле умершего, всматриваясь в его застывшее лицо, наконец, безнадежно махнул рукой и натянул на лицо кусок овчины.

К исходу третьего дня потянулись узнаваемые места. В темноте на околице его спугнули бродячие собаки. Под их дружным лаем Федыка не рискнул заходить в село.

Утром на него, спящего, набрела толпа местных баб, собиравших кислятку на пироги. С визгом, растеряв лукошки и корзинки, они бросились к деревне. А потом более смелые, сбившись в кучу, вернулись на поляну, чтобы отбить своё добро.

Федыка, никем не узнанный, не узнавая никого сквозь слезную пелену, застилавшую глаза, в коротких драных галифе, расползающейся гимнастёрке, нелепо взбрыкивая босыми ногами, невпопад размахивая руками, прошёл меж ними строевым шагом не служившего никогда солдата.

Несмышлёнка

*История всех до сих пор существовавших
обществ была историей борьбы классов.
(К. Маркс и Ф. Энгельс)*

Так Верку зовут мать, отец и баба Дуся. Одна лишь тётка Зоя ласково и всерьёз называет Верочка, а иногда – Вера Николавна. А ей ведь уже седьмой годок и очень она в свои малые лета разумная. И корову подоить готова, хоть силёнок маловато.

Где тебе! – отмахивается мать.

Тягунка смеётся:

– Иди Красотку подёргай.

А Верка-то знает, что телята молока не дают, и обижается.

Ей всё больше кажется, что в доме она не родная, наверное, приёмная. Вон у других детворы полные дворы, а она одна. Наверное, у мамки с тяткой что-то не получалось, и они взяли приёмшца, выбрав самого смышленного. Ведь никаких забот с Веркой нет. Другие стёкла бьют, дерутся, день-деньской бегают на улице, от работы отлынивают, а она – домоседка и хлопотунья. Правда, всё впустую. Ну, бабе Дусе клубок подержать, иль мамка скажет: «Пройдись голиком по избе» – вот и все дела. Отец только за квасом посылает. А когда сильно пристаёшь, смеётся: «Натаскай воды ковшом да чтоб полную баню».

Другое дело – тётка Зоя. Всегда весёлая, приветливая, хоть и жизнь у неё, Верка знает, не сложилась. В семье она была младшей, после мамки, красивой и любимой дочерью. Уле-стил её проезжий купчик и увёз с собой в Челябинск. Не обманул, женился, да не пожилось – пил запойно и драться любил. Когда разводились через суд, попробовала тётка Зоя «оттяпать» у супруга часть имущества, да не получилось. В качестве компенсации за побои присудили только вставить вместо выбитого зуба – металлический. С ним, на зависть мужикам всей деревни, и вернулась Зойка домой.

Не склонная к крестьянской жизни, она всё же не села на шею родственникам, нашла источник существования – на машинке «ZINGER» девкам и молодящимся бабам всей округи шила городского фасона наряды. Жила, по деревенским меркам, широко и весело. От кавалеров отбоя не было, и не раз её дом брали штурмом ревнивые жёны.

Баба Дуся, прежде без памяти любившая Зойку, теперь панически боялась и шёпотом кляла младшую дочь – бросила дом и вместе с угасающим мужем перебралась к Веркиным родителям.

Дед недавно умер. Верка его помнит сгорбленным, ссохшимся старичком, словно прожитые годы иссушили и сделали ниже ростом. Последние дни он не спал ночами, сидел перед домом на лавке, курил махорку и морщился от болей в животе. Верка тайком от родителей пробиралась к нему, сидела рядом, тарасила глаза в чистое, усыпанное звёздами небо. Дед указывал на эти светящиеся точки, называл каждую своим именем. Он был добрым.

О том, что идёт война, Верка знала, но в глаза её не видела, всё как-то стороной обходила она Табыншу. А теперь вдруг нагрянуло столько много бородатых казаков! У всех мрачные настороженные лица. Их главный сотник со своими помощниками остановился в просторной избе тётки Зои. Эти дядьки оказались совсем и не страшными. Но тятка настрого запретил ходить туда, а тётку Зою назвал нехорошим словом.

Вот беда! Верке ну просто необходимо срочно побывать у тётки. У неё осталась на примерку новых нарядов любимая кукла Мотя, вырезанная дедом из деревяшки. Да и новостей скопилось уйма.

Вот вчера, например, с мамкой, другими бабами пошли за кислоткой в лес и наткнулись на беглого солдата. Вот страху-то! Бабы врассыпную. А Верка сразу смекнула – бежать-то хуже и осталась возле боевитой тётки Глани. Мамка, та до деревни бежала без оглядки, и только тогда про дочь вспомнила и её же потом отругала. Ну, справедливо ли?

Дак как же к тётке-то сходить, чтоб про то дома не узнали?

Верка крадучись забралась под крышу амбара поразмыслить и оглядеться.

День начинался весёлым солнечным светом, заливавшим двор, усадьбу, всю округу. К густому духу прошлогодних веников подмешивались все ароматы весны. Сотни щелей в старейшей крыше. Верка потянула носом, чтобы определить из какой каким запахом веет.

Дверь в избу тихо отворилась и на пороге показалась баба Дуся – маленькая старушка вся в чёрном. Её туго зачесанные назад волосы отливали серебром, и хотя ей было за шестьдесят, лицо оставалось гладким, без единой морщины. Годы будто проскользнули по ней, как вода по стеклу, не оставив следа. Она была босиком и тёрла спросонья глаза.

Значит, тятки дома нет, подумала Верка, зная, что баба Дуся очень стесняется своего зятя. Где же мамка? Может в огороде?

Она прошла по гулко хрустевшему шлаку, выглянула в слуховое окно. Судя по росе, сверкавшей на огородной зелени, день до самого заката обещал быть солнечным и ясным.

С соседского денника доносился звяк удил и тихое ржание. Вместе с хозяйской лошадейкой и беспокойно метавшимся вдоль загороди стригунком, Верка увидела чужого, под седлом, доброго коня. Наверное, тоже на постой стали, подумала Верка о соседе, и вдруг уловила в густых изумрудно-серебристых зарослях малины какое-то движение и, взглядевшись, ясно различила прятавшегося меж кустов мужчину.

Она так напрягала зрение, что даже ощутила резь в глазах, и всё же смогла различить, что незнакомец одет в сапоги, перепоясан ремнями и через плетень наблюдает за улицей.

По мере того, как он оставался неподвижным, вызывая своими непонятными действиями страх, сердце Веркино затрепетало. Она почувствовала, как от живота поднимается вверх холодная волна, захватывает всё тело, бьётся и стучит в висках.

Кто это, и что он замышляет? Скорей тятке сказать. Ах, его нету! И мамка где не ведомо. С бабкой что говорить – глухая и пугливая, даже мышей боится.

Верка спустилась вниз и бегом по улице понеслась к тётке Зое.

Два казака курили и беседовали во дворе, не обратили на девочку никакого внимания.

Невысокий, худющий, с крупными лошадиными зубами сказал:

– Насколько мне известно, его положили в полевой лазарет с высокой температурой.

– Не мудрено, – ответил другой, с лицом похожим на хитрую лисью мордочку. – Любого кинет в жар от такой бабы.

Оба громко расхохотались.

В кадучке для сбора дождевой воды Верка вдруг увидела свою любимицу Мотю, плавающую вниз лицом, облепленную зеленоватой плесенью. Обида шилом кольнула маленькое сердце. Держа куклу в вытянутых руках перед собой, как доказательство гнуснейшего преступления, девочка, едва сдерживая слёзы, спросила казаков о своей тёте. Ей указали на распахнутые двери бани.

Войдя туда, Верка была настолько поражена увиденным, что мигом забыла про Мотины беды. Тётка Зоя сидела на полу, прислоняясь спиной к лавке. Лицо у неё, совсем ещё молодое, затаила восковая бледность. Её пышные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, горящие лихорадочным блеском глаза застыли неподвижно, как у куклы.

– Нет, это так не кончится, – бормотала она, разговаривая сама с собой. – Я ещё всем вам покажу. Да, я ничего не боюсь, меня ничто не остановит. А тебе, милый, я всё скажу, всё до конца... Нет, ты не бросишь меня здесь. Не надейся.

На лице у Верки выражение растерянности сменила гримаса ужаса.

– Тётечка Зоя...

– Где ты, Верочка? – Зойка пошарила рукой в пространстве, повела невидящим взглядом туда-сюда.

– Не оставляй меня, доченька, – произнесла она дрожащим голосом.

Поймав под руку босые Веркины ступни, она принялась осыпать их поцелуями

– Тётя Зоя, тётя Зоя, – тормошила её девочка. – Я здесь. Посмотри на меня.

Сквозь пьяный туман женщина наконец рассмотрела Верку, схватила её за руку, пытаясь подняться.

– Солнышко моё... Я хочу исповедаться, – сказала Зойка, перебравшись с пола на лавку.

Девочка зачерпнула ковш воды, сунула его тётке ко рту и вскоре увидела, что лицо её постепенно оживает, взгляд приобрёл осмысленность, знакомая улыбка заскользила по её губам.

– Ты ведь меня любишь, доченька? – еле слышно спросила она, – Так позови ко мне Митю.

И тихонько рассмеялась. Верка погладила её по волосам.

Митей звали главного казацкого сотника. Он был сорокалетним, хорошо сложенным, тёмноволосым мужчиной с суровым лицом и настороженным взглядом чёрных, как уголь, глаз. К Верке он относился хорошо. И потому девочка с большой охотой побежала выполнять тёткину просьбу. Она ещё решила, что надо дяде Мите рассказать про страшного незнакомца, прятавшегося в соседском огороде.

Но попасть в избу сразу не удалось. Через двор шагала баба, топая, как солдат.

– Калиныч, твоя идёт! – крикнул один из казаков в раскрытые сени, и дверь тут же захлопнулась.

– Открой, слышишь, – толкнула баба подпёртую дверь.

– Ты совсем спятила. Беги домой, спрячься в погреб от шальной пули: красные вот-вот будут здесь, – глухо донеслось оттуда.

– Открой, я хочу тебя видеть.

– Мы ждём приказа на отступ. Всё равно нам расставаться. Уходи.

– Если ты не откроешь, я сяду тут у порога, – упрямо сказала баба.

По двери изнутри пнули с досады:

– Вот дура! Что тебе с поглядом?

– Я люблю тебя.

Дверь распахнулась. Приземистый казак с лиловой от перепоя физиономией показался за порогом.

– У меня таких любовей в каждом селе по десять штук было, – сказал он. – Иди, иди отсюда. Кончен наш роман.

– Ах ты сволочь! – баба сжала немалые кулаки, шагнула вперёд, а потом плечи её опустились, руки безвольно повисли вдоль тела. Она горестно захлопала носом, по круглым щекам покатались слёзы.

– А ведь я тебя любила, – горестно сказала и, повернувшись, побрела к калитке, в которую уже входили двое селян.

Калиныч шагнул за порог и погрозил в спину уходящей бабе кулаком:

– Иди, иди, а то дождёшься.

Верка шмыгнула мимо него в раскрытую дверь и за столом в избе в компании пьяных казаков разглядела осоловелого сотника.

– Дядь Мить, – тоненьким голоском позвала девочка.

Но её прервали. Вошли два деревенских мужика.

– Мы, извиняюсь... – начал было который постарше.

Увидев просителей, сотник рявкнул из-за стола:

– По одному!

Оба одновременно попятнулись в двери, в замешательстве столкнулись у порога. Тогда вперёд выступил второй, теребя в руках картуз:

– Ваше благородие, с просьбой мы к вам...

Сотник кивнул, разрешая говорить, и мужик зачастил, торопясь и запинаясь.

– Так ить, пруть красные. Большими силами, говорят, пруть с городу Троицку. Вы как решили – биться или отступить? Мы боимся, чтоб село, значить, не спалили. Может вы в чистом поле?

– Что? – сотник задохнулся от ярости и мгновенно побагровел. – Бунтовать-митинговать? Хлеб-соль красным приготовили?

Сотник схватил кухонный нож и с размаха вонзил его в стол. Потом двинулся на мужика, сверля его злобным взглядом, понизив голос до зловещего шепота:

– Знаешь, что я с тобой сделаю? Прикажу повесить крюком за ребро на собственных воротах. Сдохнешь ты не сразу, может и красных дождёшься. Передай им привет от оренбургского казака Дмитрия Копытова.

– Вон! – вдруг заорал сотник над самым Веркиным ухом и до смерти напугал девочку.

Но не только её. Мужики, спотыкаясь о порог и друг о друга, стремглав, наперегонки бросились из избы и со двора.

Тут только сотник заметил Верку, перевёл дух и погладил девочку по головке. Увидел, что страх не покидает Веркины глаза, улыбнулся, поднял её сильными руками, повертел словно куклу перед собой и, поцеловав в лоб, поставил.

– Хочешь леденцов?

Конечно, Верка леденцов хотела. Получив желаемое, выложила дяде Мите все вести, с которыми пожаловала. Сотник выслушал девочку, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Разговор он закончил коротким: «Хорошо», и приказал трём казакам пойти с девочкой и поймать того, кто прячется в малине.

Подожли к указанному Веркой плетню. Стояли без опаски, курили, переговариваясь. Послали одного казака на денник, и тот, пройдя через двор, пристрелил собаку, вернулся и доложил:

– Точно. Стоит конь под седлом. По всему видать – красный лазутчик здесь.

Докурили, затоптали окурки, крикнули: «Эй, вылазь!» и принялись палить из винтовок наугад в малину. Верка со страху закрыла ладошками уши и присела на корточки.

Лазутчик выскочил неожиданно совсем рядом, высоко вскидывая ноги, прыгая через кусты и грядки, побежал прочь, придерживая кобуру маузера на ремне. Казаки стреляли ему в спину и матерились на каждый промах.

Пуля догнала беглеца, когда он, перемахнув плетень денника, стал отвязывать от прясла свою лошадь. Лазутчик боднул головой крутой бок коня и, пугая его, завалился под ноги.

Казаки пошли посмотреть на подстреленного. Верка, до полного безволия раздавленная страхом, побрела следом.

Красный разведчик лежал, подвернув под себя ноги, с широко раскинутыми руками, глаза его были закрыты. Казалось, он сладко спит, но с его белого, как полотно, лица уже исчезли все краски жизни, а изо рта сбегал ручеек крови.

На шум вышел хозяин усадьбы, сосед Василий Шумаков. Роста он был невысокого, но скроен ладно. Выглядел лет на пятьдесят. Лицо круглое, насмешливый быстрый взгляд зелёных глаз выдавали весёлый общительный нрав. Шёл он уверенным шагом, ни на кого не глядя, и казаки невольно расступились перед ним.

– Узнаёшь, хозяин, гостя? – кивнул Калиныч на труп красноармейца.

– Назвал бы гостем, – усмехнулся Шумаков, – кабы я с ним почаёвничал, а так...

– Коня-то, поди, сам привязал?

– Коня-то? Первый раз вижу.

– Да-а! Видать, мудрый ты человек, – восхитился Калиныч. – А ну-ка, ребятки, взяли его.

Не сразу казаки заломили Василию руки за спину – пришлось попыхтеть, даже винтовки бросили в конский навоз. Но уж когда согнули мужика – потешились. Застонал Василий, чуть не в колени уткнувшись головой.

– Что у тебя делал красный? – наливаясь яростью, прошипел Калиныч.

– А я почём знаю, – хрипел Шумаков.

В ответ получил сильный удар сапогом в лицо. Василий замотал головой. Капли крови полетели в разные стороны, и одна попала Верке на колено. Она в ужасе попятилась. Казаки толкнули Шумакова на землю и упавшего стали дружно пинать сапогами.

– Говори! Нет, ты будешь говорить! Будешь! Будешь!

– Вы убьёте меня безвинным! – закричал Василий, катаясь и корчась под ударами.

Верка стремглав кинулась с денника. Ей было страшно, хотелось спрятаться, забиться в закуток, но пересиливали страх жалость, желание помочь соседу. Дядька Вася Шумаков был хорошим, всегда весёлым и добрым. Нельзя дать казакам убить его.

Тяжка не поможет. Верка побежала к дяде Мите.

В опустевшей избе сотник и едва пришедшая в себя Зойка выясняли отношения. Он стоял к ней спиной, руки в карманах, пристально смотрел, как за окном играет солнце в серебристых листьях сирени. Зойка уже выкричалась вся и, безнадежно махнув рукой, устало опустилась на лавку:

– Не любишь ты меня, Митя. Не любишь.

Сотник резко повернулся, взял в сильные ладони её помятое, но всё же красивое лицо и сказал, осыпая его поцелуями:

– Эх, любил бы я тебя, родная, кабы не война. Эх, любил бы.

Вбежала Верка и от волнения и зашедшего дыхания не могла связно говорить. Она лишь твердила, тыкая в пространство рукой:

– Там, там...

Втроём пришли на шумаковское подворье. Верный Полкан, разинув пасть в последней угрозе, лежал, натянув цепь. Широко распахнуты были двери амбара, и сотник уверенно шагнул внутрь. Зойка с Верочкой за ним.

Хозяин с посиневшим от побоев лицом стоял на подогнувшихся ногах, неестественно далеко отклонившись от вертикали, высунув распухший язык и выпучив глаза. В этом положении его поддерживала вожжа, привязанная за скобу в стене, перекинутая через крюк в матке потолка и обвившая шею петлём.

Первым желанием сотника было освободить мужика от петли, прекратить его мучения, будто бы они ещё продолжались. Но взгляд зацепился за сгусток крови под носом и выпученные глаза удушенного.

– Поторопились, сволочи, – ругнулся он и сплюнул на земляной пол.

Оглянулся на девочку, как бы оправдываясь. Зойка вскрикнула, подхватила Верочку на руки и бегом из амбара.

Где-то глухо рвануло, сотрясая землю, и ещё раз, и ещё. В конце улицы развернулся ходок, и сразу же затрещал пулемёт, сверкая белыми огоньками. Фонтанчики пыли запрыгали по всей улице.

– Красные! Красные! – раздались истошные крики.

Огородами к лесу бежали какие-то люди, скакали верховые.

Одна из пуль угодила в выбежавшего со двора сотника и бросила его на землю.

– Зоя, – позвал он напоследок.

Тихо сказал, но Зойка услышала, вернулась и замерла столбом подле распластанного тела, пытаясь понять, жив ли. Верка ящерницей извивалась в её онемевших руках, брыкалась

и билась изо всех своих детских силёнок, пытаясь высвободиться. И лишь только пятки её коснулись земли, колыхнулась упругая Зойкина грудь, на белой кофточке начало растекаться тёмное пятно. Тётка несколько мгновений стояла неподвижно, потом силы стали покидать её, ноги подкосились в коленях, и она упала, уткнувшись лицом в Митины сапоги. Грешная душа первой деревенской красавицы отлетела вслед за любимым.

Этого Верка уже не видела. Она неслась к дому на перегонки с пылевыми фонтанчиками, которые вдруг бросились вдогонку. И догнали, если б Верка, увидав отца в калитке ворот, не свернула, кинувшись ему на руки. Фонтанчики пробежали мимо, вдаль. Но тут же возникли снова посреди улицы и ринулись к Веркиному дому.

Отец с дочкой на руках вбежал во двор, хлопнув калиткой. И тут же по воротам хлестанули чем-то звонким, полетели щепки. Вбежав в полумрак сеней, отец принялся целовать Верку, прижимая к себе, глядя по спине и волосам:

– Маленькая моя, сокровище моё...

И только теперь, уткнувшись лицом в тяткину щетинистую шею, девочка, наконец, дала волю потокам слез и оглушительному детскому рёву.

Два атамана

*Путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы
с низким и вредным, с бедствиями и пороками
людей не закрыт никому и никогда.
(Н. Чернышевский)*

Летом 1919 года прокатился фронт по Южному Уралу и затих вдали. Возвращались домой уцелевшие под свинцовыми дождями мужики.

Вернулся в Табыншу Федька Агарков, ослабший, отощавший – кожа да кости, с яростным желанием вступить в Красную Армию. Но в тот же день, объевшись горячих и жирных щей с бараниной, почувствовал такую резь в животе, что едва добрался до кровати и объявил – мол, пришёл его последний час. От корчей, вызванных рвотой, у него выступил пот. Попросил укрыть его потеплей и оставить в покое.

Мучения Федькины затянулись на две недели. Настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах, ходя по нужде. Худой, жёлтый, с распухшими, в болячках, ногами, лежал на родительской кровати, безучастно глядя на хлопотающих подле него. А когда начал поправляться, то не вспоминал уже о военной службе.

Встав на ноги, не спросясь матери, женился вскоре на Фенечке Кутеповой, спасая девку с округлившимся животом от позора. Стал он молчалив и задумчив, будто не только повзрослел разом, а и постарел даже.

От далёких берегов Амура вернулись в станицу Соколовскую красные казаки со своим лихим командиром Константином Богатырёвым. Ни единой царапины кроме рубца на плече от братовой шашки не получил он в жарких боях, а лишь орден на грудь из рук самого Василия Константиновича Блюхера.

Соратники всячески хвалили его:

– При желании большим командиром мог бы стать.

А станичные старики качали головами:

– Так что ж к коровьему хвосту вернулся?

На что Константин отвечал:

– Кусок хлеба для простого человека так же вкусен, а может быть, вкуснее, чем для генерала.

Семён Лагутин не ушёл на восток с белыми частями. Словно затравленный волк, отбившийся от стаи, рыскал он лесными тропами, зло покусывая Советскую власть в деревнях и станицах, но уже не встречал прежней поддержки даже среди казаков.

Особенно тяжело пережили первую мирную зиму. Голод, постоянный страх засады гоняли отряд, таявший будто снежный ком, по глухим хуторам, кордонам и заимкам. К лету осталось у Лагутина едва ли с десятков человек, все вроде него – отпетые и бездомные.

Понял Семён, что пришёл срок его вольности, а может и самой жизни. На лесной заимке у одного богатого казака впал он в запой и никак не мог остановиться уже которую неделю. Соратники, боясь доноса и ЧОНовской облавы, мрачнели день ото дня.

Посыльной председателя станичного Совета прибежал в дом Богатырёвых в предсмертный час.

– Да не егози ты, – ворчал Константин, натягивая сапоги, – Толком обскажи, что стряслось.

Прибежавший, тяжело дыша, пил из ковша, поданного Натальей, и зубы его стучали о металл.

– Игнат Иваныч прислал, – давился он глотками и торопился рассказать. – Скажи, говорил, бандиты понаехали... Сам Лагутин с ними... Во дела!

– Лагутин, говоришь? – Константин повёл широкими плечами и усмехнулся, поймав тревожный взгляд Натальи. – Ну, пойдём, глянем.

– Ты бы это, ружьё взял или покликнул кого, Алексеич.

– Трусоват ты, братец, как и твой начальник.

У станичного Совета подле оседланных коней стояли четверо казаков, за плечами у них были винтовки, на боках – шашки. Константин приостановился, оглядывая незнакомцев, хмыкнул, качнув головой, и шагнул на крыльцо.

Председатель станичного Совета Игнат Предыбайлов метался от окна к окну, выглядывая Богатырёва. Усмотрев, сел за стол и попытался придать лицу начальствующее выражение, но тут же забыл о нём, едва Константин переступил порог, зачистил, волнуясь:

– Что же ты один? Хлопцев бы своих покликнул. И не вооружён. Бандиты пожаловали, а уполномоченный где-то запропастился. Что делать – ума не приложу.

Константин сел на стул, положив могучую руку на край стола:

– Ну, рассказывай.

– Лагутина привезли спеленатого, – выпалил Предыбайлов, утирая цветастым платком вспотевшую лысину. – Амнистию просят.

– Так напиши.

– Думаешь? – Игнат подозрительно покосился на Богатырёва, – А меня потом не того... за одно место?

– А если они тебя сейчас того, – издевался Константин над безнадёжным трусом.

– Вот сволочи! Ведь могут, а, Алексеич?

– Напиши им бумагу, какую просят, да винтовки отбери – ни к чему они в мирной жизни.

– Амнистию я им напишу и печать поставлю, а винтовки ты бы сам. А, Алексеич?

– Пиши, – Богатырёв махнул рукой и вышел из Совета.

Казаки, хмуро курившие у своих коней, разом побросали окурки, подтянулись, бряцая оружием и амуницией. Они уже догадались, что в Совет пожаловал очень важный человек, может быть, сам Богатырёв.

Константин сошёл с крыльца, топнул ногой, указывая место:

– А ну, клади сюда оружие.

Четыре винтовки, четыре шашки послушно легли в одну кучу. Константин кивнул посыльному, и тот засуетился, таская в Совет оружие охапками, как дрова.

Богатырёв шагнул к казакам, раскрывая кисет:

– Нагулялись, соколики?

– До тошноты, отец родной...

Вместе с клубами дыма потекла неспешная беседа.

Появился Предыбайлов. Руки его с листами бумаги заметно тряслись.

Константин жестом остановил его:

– Давай сюда.

Мельком взглянул:

– Что ж ты фамилии-то не вписал?

– Да нам вроде бы и ни к чему почёт лишней, – сказал один из казаков. – Хоть и враг он новой власти, а ведь командиром был, хлеб-соль делил... Лишь бы печать была.

– Печать есть, – раздавая амнистии, сказал Богатырёв.

Когда силуэты верховых растворились за околицей, Константин похлопал обмякшего Предыбайлова по плечу:

– Ну, показывай своего зверя.

Лагутин лежал на полу в подсобном помещении, скрученный верёвками по рукам и ногам.

На звук шагов он шевельнулся и, выматерившись, прохрипел:

– Сволочи вы, а не казаки. . . . Дайте ж до ветру сходить.

Константин присел на корточки, распутывая верёвки, и через минуту перед остолбеневшим Игнатом предстал разбойный атаман Семён Лагутин, с обрюзгшим от перепоя лицом, но по-прежнему сильный и опасный. Он растирал ладонями крепкие запястья, поводил широкими плечами, поглядывал на присутствующих с ненавистью и презрением. И вдруг сгорбился и засеменял неверными шажками на крыльцо, а с него к ближайшим кустам сирени.

– Убежит, – ахнул Предыбайлов.

– Куда? – пожал плечами Богатырёв и прошёл в кабинет. Игнат за ним, оглядываясь на входные двери и страшась отстать. Константин по-хозяйски расположился за столом председателя Совета. Тот примостился просителем на лавке.

– Что ж ты хлопцев не покликнул? Всё удалю своей кичишься. А ну как. . . . Вишь, он какой. . . . И терять ему нечего.

– Знаешь, Игнат, одни живут, играя со смертью, другие умирают, хватаясь за жизнь. Ты-то как, жить хочешь?

Предыбайлов хоть и был потомственным казаком, но с детства отличался хлипким телом и слабою душой, а в председатели попал по своей грамотности. Богатырёв его презирал.

Вошёл Лагутин, сел на лавку напротив, пошарил по карманам и жестом попросил закурить. Константин бросил ему кисет.

– Облегчился?

Семён кивнул головой и, пуская под нос клубы дыма, неожиданно тепло сказал:

– В самый раз. Думал, обгажусь. Дело такое, что не отвертишься.

Константин понимающе кивнул головой и взглянул на белого, как мел, Предыбайлова:

– Иди-ка ты домой. Ишь как вымотался – с лица прямо спал. А мы тут с гостем твоим до утра покоротаем.

– Покоротаем, – согласился Лагутин.

А председатель станичного Совета охотно закивал, засуетился и мигом исчез из своего кабинета.

– Есть хочешь? – спросил Богатырёв.

Лагутин покачал головой, отрицая, а потом жестом показал, что не против опохмелиться.

– Припоздал ты. Чуть пораньше – Игнатку бы заслали, а теперь терпи: я тебе не посыльной, да и ты не гостем у меня. Как скрутить себя дал, Семён?

– Хмельным взяли, сволочи.

– Хуже нет, когда свои продают.

Помолчали. За открытым окном сгустились сумерки, посыпал дождь, шелестя листвой. Богатырёв в сердцах сплюнул:

– Откосились!

– Дождь с ночи – надолго, – подтвердил Лагутин. – Окладной. Однако хорош для сна – убаюкивает.

– Ну, давай ложиться, – согласился Константин и потушил керосиновую лампу.

Расположились на лавках у противоположных стен. Слышен был перестук дождя, ветка сирени скреблась о ставню, мыши под полом затеяли возню. Вот и все звуки. Потом по комнате растеклись глубокое дыхание и тихие посвисты.

Константину снилась молодая Наталья, берег пруда, заросшего ряской. Она в прозрачной ночной рубаше манила желанным телом, звала жестом за собою в воду.

Константин шагнул и разом провалился в чёрный омут, накрывший его с головой холодной водой, дно пропало из-под ног. Он попытался всплыть, но голову сдавили железные тиски,

к ногам будто жернова подвесили, и перехватило дыхание. На грудь навалилась непомерная тяжесть, воздуху в ней становилось всё меньше и меньше. Константин закричал, рискуя захлебнуться, и ... очнулся.

Чьи-то сильные руки сдавили ему горло, сверху навалилось тяжёлое тело, лицо обдавало горячим дыханием. Богатырёв перехватил запястья, пытаясь разжать удушающую хватку, напрягся, и ещё. Противник застонал – сила ломала силу. Хватка на горле ослабла. Константину удалось вздохнуть, и он почуял смрад перегара. В то же мгновение Богатырёв саданул противника коленом в бок и замешкавшегося – обеими ногами в грудь.

Отдышавшись, Константин зажёл лампу, присел за столом, скручивая сигарку.

Лагутин, сидя на полу, мотал головой, сплёвывал на пол и бороду сгустки крови из прокушенной губы.

– Силён ты, Богатырёнок, ногами драться, – ворчал он, ощупывая грудь и зачем-то спину. Константин, наконец, унял дрожь в руках и прикурил.

– Как был ты жиганом, Лагутин, так и подохнешь, – зло сказал он и сплюнул в сторону атамана. Потом, будто пожалев, смягчил тон. – Ты, Семён, на что надеешься? Куда бежать-то собрался?

– Да ни на что. Просто зло взяло – сопишь ты весь такой правильный, безмятежный, наверное, бабу во сне тискаешь, будто страх насовсем потерял.

– Я, Семён, счастье своё в боях заслужил и страх там же оставил.

– Конечно, конечно. И когда братуху своего, как капусту....

Константин промолчал, помрачнев. Взгляд его остекленел.

Лагутин, наконец, поднялся, прошёл неверным шагом к столу, взял Богатырёвский кисет, свернул сигарку, закурил, прервал затянувшееся молчание:

– Почему так получается: кому молоко с пенкой, кому – дыба и стенка?

– Ну, покайся, – усмехнулся Константин. – Расскажи о своей сиротской доле. Глядишь, в чека и посочувствуют.

И будто снежный ком толкнул с горы – разговорился Лагутин, изливая наболевшее, разгорячился, торопясь облегчить душу, будто в последний раз видел перед собой понимающего человека.

За тем и ночь прошла. Дождь за окном иссяк. Утро подступило хмурое, но с солнечными проблесками.

Когда по улице прогнали стадо, на крыльце раздался дробный стук каблуков. Вошла Наталья Богатырёва, по-прежнему крепкая и живая, смуглолицая от загара. Подозрительно осмотрела мужа, незнакомца, стол и все углы помещения. Не найдя предосудительного, всё же не сдержала приготовленные упрёки:

– Прохлаждаешься? Отец уж Карька запряг, на покос собирается, а он прохлаждается. Старый кряхтит, а едет, потому что надо. Ему надо, а тебе ни чё ни надо. Так всю жизнь шашкой бы махал да махоркой дымил. У, анафемы, стыда у вас нет!

Наталья ушла, хлопнув дверью.

– Вот бабы! – Константин не знал, как оправдаться за жену. – А ведь верно – на покос надо ехать. Припозднились мы – трава перестояла, да и дождик кончился.

Пришёл заспанный Предыбайлов и своей унылой физиономией подстегнул решимость Богатырёва:

– Ты, как хочешь, Игнат, а мне на покос надо ехать. Не брошу ж я старика.

– Да ты что! – председатель даже лицом побелел от мысли остаться наедине с Лагутиным. – Ты ж вызвался помочь. Не сгорит твой покос.

– Ни кому я в помощники не назывался, – отмахнулся Константин. – А покос-то как раз и сгорит. Тут день упустишь – год голодным будешь. Да и отца ты моего знаешь – упрямый старик: что задумал – умрёт, но сделает. Вообще, пошёл я, бывай.

– Константин Алексеевич, – взмолился Предыбайлов. – Не губи, родной. В чеку его надо, в Троицк везть. А я-то как – убьешь по дороге. Ты вот что, забирай его с собой – сам ведь развязал...

– С собой, говоришь? – Богатырёв оглянулся от дверей, смерил взглядом атамана, – Косить не разучился?

Лагутин покривился. После ночной исповеди к нему пришли – на душу умиротворённость, на лицо отрешённость.

– Пошли, говорю, со мной, – сказал Богатырёв Лагутину. – Чека ещё подождёт.

Ближе к полудню ветерок разогнал облака, солнце поднялось высоко, и под его лучами запарили окрестности. Старший Богатырёв, Алексей Григорьевич, правил лошадью и помалкивал. Константин с Лагутиным вели неспешный разговор.

– Спроси любого из нас – за что дрались? – и оба скажем: заступались за обиженных, поднимали униженных, наказывали злодеев.

– Тебя послушать, – отмахнулся Константин, – так все бандиты станут заступниками. А то, что мы землю у богачей отобрали – плохо что ли?

– Будто ты до революции безземельным был, – усмехнулся Семён.

– Не обо мне речь, о народе.

– Дак ведь и я народ – отец пахарь, мать пряха.

– Бесконечная у вас получается песня, – не выдержав, хмыкнул Алексей Григорьевич. – А я вот думаю, когда один слепец ведёт другого, оба в яму угодят.

Отцу Константин возражать не решился.

А атаман сказал:

– Я, по крайней мере, казацкой присяги Отечеству и царю-батюшке не порушил.

К широкому лугу, заросшему густой травой и пёстрыми цветами, подступал с одной стороны берёзовый лесок. Здесь и решили разбить табор. Дед Алексей распряг лошадь, пустил её в вольную траву и занялся жердями для шалаша. Константин с Лагутиным выкосили на опушке кружок, сгребли пахучую траву и достроили жилище. Пообедав, легли отдыхать – косари в шалаше, а кашевар дед Алексей под телегою.

Проспав добрых три часа, Лагутин проснулся бодрым и свежим, даже боль в груди от ночной потасовки прошла.

– Я всегда говорил, – крикнул он, выползая из шалаша, – что ни горесть, ни радость не бывают слишком продолжительными. Если горесть слишком затянулась, значит, радость где-то совсем рядом.

Богатырёвы курили подле телеги. Константин промолчал, настраиваясь на тяжёлую работу. Старик закивал, соглашаясь.

– Трава прямо стоит, – сказал Константин, – крутиться не придётся. Наладим прогоны из конца в конец и пойдём один за другим. Ты уж, отец, не суйся – пятки подрежем.

– Какой из меня косарь, – согласился Алексей Григорьевич.

– Когда на ужин-то приходиться?

– А как заря на небе засмеётся.

Вскоре окрестность наполнилась звоном отточенных литовок и вздохами падающей травы. От табора потянул ленивый дымок и запах горящего сала.

День незаметно убрался за горизонт. Темнота сгустилась. Усталые косари, сидели у костра, дымили махоркой, разгоняя комаров. Распитая на троих бутылка самогона развязала Лагутину язык. Он ораторствовал, удивляясь в душе самому себе.

– Всё на земле совершает свой круг – за весной идёт лето, за осенью зима. Время идёт себе да идёт, вращаясь, как колесо, а человеческая жизнь неудержимо мчится к своему концу. Меня в чека расстреляют, ты, может, дома помрешь. А ведь помрешь, Богатырёнок, – никто вечно не живёт. И что останется?

– У меня дети, – сказал Константин, хлопнув на лбу комара, – у тебя дурная слава.

– Почему дурная? – обиделся Лагутин.

– Потому что бандит ты, и кровь безвинная на твоих руках.

– А так ли она безвинна? – спросил Лагутин после продолжительного молчания. – Ты подожди, немного времени пройдёт, и, может статься, теперешних героев врагами назовут. И наши имена припомнят без проклятий.

– Время выведет на свет все тайны, – подсказал концовку разговора дед Алексей.

Новый день начался со щебетания птиц, приветствовавших песнями красавицу-зарю, которая появилась на востоке, сияя красками во всю ширь безоблачного неба, и стряхивала на травы сверкающие капли.

– Господи! Красотища-то какая! – Лагутин выбрался из шалаша и с хрустом в плечах потянулся. – Спасибо, друг, что напоследок подарил мне такое счастье.

Константин не хотел быть другом разбойника и открыл было рот, заявить об этом, но обернувшись к Семёну, промолчал, немало удивлённый. Разбойный атаман, став на колени в росную траву, истово молился восходящему солнцу. Под крестным знаменем длинная борода заворачивалась к самому лбу.

– Кто грешит и исправляется, тот с Богом примиряется, – оценил картину старший Богатырёв.

– Прежде всего, – наставительно сказал Лагутин, поднимаясь с колен, – надо бояться суда Божьего, ибо в нём заключается вся мудрость земная.

– Тебе кстати бы пришлось поповская ряса, – сказал Константин, тронув пальцем висок.

– Молодой ещё, – кивнул Лагутин деду Алексею, – глупый....

Роса отошла, и косить стало труднее. Лагутин бросил на рядок литовку, отёр ладонью пот и заявил, что не плохо бы перекурить.

– Прогон закончим и на табор, – сказал Константин, но тоже бросил косу и подошёл с кисетом, угощая.

Он чувствовал, как выматывается Семён, стараясь не отстать, но с каждым часом атаман слабел всё заметнее, и Богатырёв, жалея, сдерживал прыть свою раззудевшуюся.

– Ты, Петь, сильно-то не напрягайся – знаешь ведь, любому каблуки подрежу. Ты коси своей силой, а я своей – так мы больше свалим.

Константин и не заметил, что назвал Лагутина братовым именем, а Семён подметил, и тёплая волна благодарности нежной рукой коснулась сердца, мурашками пробежала по спине, омыла целебным бальзамом изболевшуюся душу. Украдкой смахнул нечаянную слезу, вытащил из Константиновых кудрей запутавшегося шершня и, прикуривая, с братской любовью похлопал по крутому плечу....

В станицах не принято потешаться над поверженным врагом, и потому провожали в дорогу молча.

Игнат Предыбайлов впряг своего коня. Константин Богатырёв уселся в ходок. Семён Лагутин примостился на облучке с вожжами в руках. Роль бывшему атаману досталась не из почётных. Но Семён в последние дни менее всего обращал внимание на земную суету, Его истовая набожность удивила даже деда Алексея.

– Святой человек, – перекрестил он готовый тронуться ходок.

Подошла Наталья:

– Скоро ль вернёшься? К вечеру-то ждать?

– Как знать? – пожал плечами Константин.

Путь до Троицка не близкий.

Голод

*До сих пор история не представляла ни одного
примера, когда успех получался бы без борьбы.
(Н. Чернышевский)*

Над мохнатым краем леса за Горьким озером поднялась луна. Этой ночью она была безупречно кругла и чиста, Её яркий свет залил округу, а звёзды, устыдившись, отлетели ввысь. Над спящей деревней пронеслась в исступлённой пляске распластанная летучая мышь. Издалека, над озером пронёсся тонкий, жалобный, волной нарастающий звук, словно невиданной величины волк выл на сияющую луну. И вновь установилась жутковатая полуночная тишина.

Не тревожа собак, огородам старой Кутепихи крались две мальчишеские фигурки. С задов избы горбился холмик погреба. Из-под его дощатой крышки поднимались густой запах плесени и чуть уловимый аромат чего-то съестного, от которого кружилась голова, и видимое теряло своё очертание.

– Ну что, ага? – Антон Агарков заглянул в лицо своему приятелю.

– Угу, – кивнул тот головой.

Освободив задвижку из скобы, они бесшумно подняли, а затем опустили за собой крышку погреба. В кромешной темноте спустились по ступенькам лестницы. Растопыренными пальцами вытянутых перед собой рук Антон нащупал осклизлый бок бочки, отодвинул крышку и сунул в нутро руку.

Его товарищ, привлечённый шумом, настороженно спросил:

– Ну, что там?

Антон промолчал.

Потом раздался аппетитный хруст, и его не совсем внятный ответ:

– Огурцы.

– Брешешь, – не поверил мальчишка.

– На, – Антон протянул на голос руку.

Наверное, в этот момент или чуть позднее с ними случилось совсем уже неуместное веселье. Они тыкали друг друга кулаками, давились, закатываясь, смехом, повизгивая, словно разыгравшиеся щенки. Их ломало и корёжило, и не погибли они в корчах лишь потому, что подспудно присутствующий страх удерживал их от громового ликования.

Наконец смех иссяк в них досуха, до икоты, и теперь казалось, что ничто в мире и никогда не рассмешит их. Веселье им даром не прошло: от солёного рассола заболели потрескавшиеся губы.

С вечера Фёдор Агарков засыпал трудно – долго ворочался, скрипел пружинами на самом краю кровати, чтоб не потревожить жену. А в эту ночь сон и вовсе не пришёл.

Луна лежала на полу большим ярким квадратом. Белела печь с синими, слегка закопченными петухами на штукатурке, с широким продыmlенным зевом топки. Через открытый дымоход влетала в избу ночная, вдруг ставшая незнакомой, жизнь полупустой деревни, мерещились какая-то возня, стуки и скрипы. Табыньша клокотала, словно перекипевшая каша, или все эти звуки рождались в затуманенной бессонницей голове?

Тонкая жилка забилась в уголке левого глаза. Желание курить стало нестерпимым.

Фёдор, натянув штаны, выскользнул за дверь. Постоял, прислушиваясь. Прихлынула неестественная тишина, собралась у висков, сделалась одуряющей и вязкой. Но в следующий момент в ней забрезжили привычные звуки. Тоскливо перекликнулись собаки. Вопросительно звякнуло неутешное коровье ботало.

Заподозрив неладное, Фёдор поспешил в хлев. На этот раз беда обошла его стороной. Все пять овец были целы и испуганно жались друг к другу, запертые в загончике. Корова тревожно поводила мордой, а когда хозяин входил, шарахнулась от заскрипевшей двери.

Фёдор подкинул ей охапку свежей травы, но бурёнка только вздохнула тяжело и не притронулась к зелени. Она таранилась чёрными влажными глазницами и мотала головой.

Кабы не заболела, мрачно подумал Агарков.

На огороде полную силу набрали цикады. Серебряные струны их скрипок будоражили кровь, навевали мысли о чём-то давнем, юном, ушедшем навсегда. Фёдор уселся на крышке погреба, раскрыл кисет, свернул самокрутку, затянулся до икоты.

Сколько было пережито за минувший год! Неурожайное лето, голодная зима, моровые болезни, смерть близких. Весна застала в Табыньше много пустых изб. Люди собирали немудрёную поклажу, укутывали детей, крестили родной угол и трогали в путь.

Фёдор каждый раз выходил провожать, долго смотрел вслед, силясь угадать, что подняло людей с родной земли, что ждёт их на чужбине, и когда его черёд. Быть может, чтобы понять это, а не в поисках чужого добра ходил он на кинутые подворья, с беспокойством вдыхал холодную сырость опустевших жилищ.

Однажды в развалины дома забрела умирать ослабевшая от голода беспризорная девчонка, маленькая, чёрная, как галчонок. Она была страшно худа. Так худа, что даже воздуху негде было в ней поместиться, и он вырывался из неё с каким-то нервным присвистом. Девчонка не шевельнулась на его зов, будто не к ней обращались. Странная была пигалица – неподвижная, с большими, совсем не детскими глазами. Фёдор не услышал от неё ни звука.

Когда принёс найдёныша домой, Фенечка округлила глаза, подхватила сынишку на руки, метнулась в угол:

– Ты в своём уме – в дом заразу принёс.

– Она с голоду помирает, – глухо сказал Фёдор, вдруг сам заражаясь страхом от слов жены. – Куда её денешь?

– Выбрось! Выбрось! – крестилась Фенечка, – Отнеси, где взял, а лучше – закопай.

– Живого-то человека?..

Сползла с печи Кутепиха, молча прислушиваясь к происходящему. Обошла девчонку со всех сторон, осторожно погладила по голове, потом легонько дёрнула за волосы, как бы желая убедиться, что они настоящие. Та неподвижно лежала на лавке и одними глазами следила за старухой. Вид у неё был жалкий.

Кутепиха извлекла из тряпицы щепотку белого порошка – измолотого корня белены – и насыпала его в ноздри девчонки. Старуха ожидала, что отравленная будет реветь, кататься по полу, биться в судорогах. Но этого ничего не было. Ручонки найдёныша несколько раз беспокойно вздрогнули, лицо исказила гримаса, а затем оно расправилось и застыло навсегда.

Фёдор торопливо пошарил рядом с собой, нащупывая кисет, скрутил сигарку потолще. Едкий табачный дым защипал в носу, забил горло. Вместе с отлетающим дымом уходило из тела напряжение, оставляя противную хлипкость в коленях. Мысли вновь вернулись к пережитому.

Деревня пустела, жители перебирались в город, в другие, сытные, по их мнению, края. Те, кто оставались, становились всё менее узнаваемыми, даже чужими. Незнакомыми, серьёзными и вечно дрожащими от холода выглядели дети – из прежних сорванцов не доставало многих, а выживших было не признать. Время такое – не до веселья.

Каждое утро брели они вдоль заборов, без гомона и возни, держа в грязных ручонках чашку да ложку. На деревенской площади под охраной нескольких красноармейцев дымила полевая кухня, из которой давали ребятишкам американскую рисовую кашу с тушенкой.

Впрочем, помощь эта подоспела совсем недавно.

Вдруг рядом раздался то ли шорох, то ли шёпот. Слабый, он чуть слышно шёл из-под земли. На глаза попали пустая скоба погребной крышки и валявшаяся на земле задвижка.

Фёдор заподозрил неладное. Подняв крышку, он долго всматривался и вслушивался в сырую темноту подземелья.

– Эй! Кто там есть – выходи. А то насовсем оставлю, – сказал он негромко, но твёрдо.

И не сразу темнота ответила лёгким шорохом и движением воздуха. Сомнений не осталось.

Фёдор отодвинулся от края, чтобы не служить мишенью:

– Ну, долго я буду ждать?

Из темноты нарисовалась голова:

– Федь, это я – Антошка.

– Ты что, паршивец, здесь делаешь?

Агарков буквально вырвал, схватив за шиворот, из-под земли на свет лунный младшего брата и как следует, встряхнул его.

– Да я, я... – Антошка захныкал, размазывая кулаками по щекам грязь и слёзы.

– Не реви, – тяжёлая рука Фёдора взметнулась над парнишкой, да так и застыла. – Всё матери расскажу, она тебе задаст. А мало, так я всыплю. Воришка несчастный.

В это мгновение другая фигурка выпрыгнула из погребного лаза и, громко шлёпая босыми подошвами, понеслась прочь. Рванулся изо всех сил пленённый Антон, но лишь закрылся на месте, болтаясь как на крюке в железной хватке старшего брата.

– Ах вы, мерзавцы! Ах, воры! – негодовал Фёдор, но на душе у него вдруг повеселело. – Ну, дождёшься ты у меня.

Он подхватил хрупкое тельце подмышку, протащил по огороду в баню, грубовато швырнул его на пол, громко хлопнул дверью и подпёр её снаружи.

Антошка огляделся, привыкая к темноте, и понял, что света проникает ровно столько, сколько надо, чтобы понять, что ничего не видно. Пошарил вокруг себя руками, нащупал каменку, вспомнил, что она, конечно, сажная, и, представив, каким он завтра будет выглядеть, даже хихикнул.

Ни матери, ни старшего брата он, конечно, не боялся: всё угрозы – никакой порки не будет. Не боялся он и ночёвки в тёмной бане. Потому, забравшись на полочку, свернулся калачиком, подтянул к груди колени и утопил в них лицо.

От бани огородом Фёдор прошёл к родному дому, поскрёбся у окна.

– Кто? – послышался из сеней испуганный голос.

– Открой, мама.

Она узнала, открыла.

– Чего ты, Федя?

Он взял её жёсткую ладонь, притянул к губам.

– Так... Не спится.

Наталья Тимофеевна отступила вглубь сеней, разглядывая сына и щура заspanные глаза.

– Заходи, – сказала она. – С чем пришёл?

Фёдор плотно затворил дверь и сказал в непроглядную тьму:

– Ну, не каяться, конечно.

– Ай-яй-яй! – мать появилась откуда-то сбоку, держа в согнутой руке горящую лучину, – тебе теперь днём-то и дороги нет в родной дом.

Прошли на кухню. Мать подпалила фитиль в плошке с лампадным маслом.

– Есть будешь?

Фёдор мотнул головой. Он стоял, не присаживаясь, готовый уйти немедленно, если мать не прекратит свои насмешки.

Наталья Тимофеевна будто поняла настроение сына, отвернулась, устало махнув рукой:

– Живите, раз сбежались. Сынишка у вас – внучок мой. А баба она дородная, строптивая только, на мужика сильно смахивает, даже усы вроде как пробиваются.... Не бьёт ещё тебя? Ну и, слава Богу. А впрочем, говорят, кто сильно бьёт, тот сильно любит....

Фёдор сдержался.

Полузабытые запахи родного дома вскружили голову, к сердцу подступила тоска по чему-то дорогому и навсегда утерянному. С зимы, с последних похорон он здесь не бывал, хоть и живёт в двух шагах.

Вот и Санька заревела – давно не видела его, не признала, испужалась. Проснувшись, слезла с печи. Они уже с матерью наговорились, напились чуть тёплого чаю. Тянет Фёдор её к себе, а она руки прячет за спину, загораживается, как от вора. Коротка память у людей.

Санька – неловкая, застенчивая девчонка-переросток – и ключицы-то, и локти у неё выпирают, и сутулится она – не знает куда руки деть. И ноги у неё длиннющие, тощие, словно две жердины. А всё ж для матери, для родного брата мила она и привлекательна. Оба с нежностью смотрят на неё, любят.

Уходя, Фёдор спросил, где Антон.

– На сеновале спит. Все коленки сбил, места живого нет – непоседа, – говорила мать, стоя у порога.

Бредя огородом, Фёдор думал о том, что и он в Антошкины годы не мало обтряс соседских яблонь, опорожнил чужих кринок от молока из колодца. Но тогда было другое время, и только добрая порка грозила в случае неудачи. Теперь народ озлобился: убить воришку – плёвое дело. Надо будет всерьёз поговорить с братом. И хорошо, что матери не сказал.

Дома прислушался к спокойному дыханию жены. Сын, Витюшка, перевернулся на живот и сдавленно всхлипнул. Фёдор подоткнул ему под бок одеяло.

«Тебя бы, сынок, миновало нынешнее лихолетье», – молитвенно пожелал он малышу то, что желал каждую ночь. – «Спи и просыпайся без страха». Тихо улёгся на кровать с открытыми глазами, закинув руки за голову.

Небо за окном посерело.

В эту голодную зиму у старухи Кутепихи появилась новая причуда – она перестала есть днём. На все уговоры Фенечки, отрицательно качала головой и повторяла:

– Не хочу, доченька, спасибо.

Отложив кусок, другой, она подкреплялась ночью, таясь от посторонних. Ну, а Фенечка думала, что бабка живёт святым духом и твёрдо в это верила. Фёдору недосуг было до чужих причотей, а когда привязалась эта бессонница, то старухина хитрость перестала быть для него секретом.

В эту ночь голод поднял Кутепиху далеко за полночь. От распахнутого погреба она приковыляла к запертой бане и наткнулась на спящего мальчишку. Долго, согнувшись, обнюхивала и ощупывала его, но так и не признала. Антошка жалобно вздыхал во сне, его удлинённое личико было утомлённым.

Вернувшись в избу, Кутепиха прежде всего посмотрела правнучонка. Взгляд её был добр и близорук. Фенечка спала одна, раскинувшись на всю кровать, на белом лице выделялись почерневшие веки.

Старуха забралась на печку, но сухие глаза её долго смотрели в щель занавески.

Темнота рассеялась. С неба незаметно опустился туман, приник к земле так, что близкий лес, утонул в нём по пояс. Проснулись птицы. Солнце, поднявшееся за далёким горизонтом, разбудило ветер, и тот разорвал туман на клочья, унёс вдаль.

Фёдор растолкал заспавшегося Антошку. Вид мальчика был не просто утомлённый, напуганный, а даже какой-то болезненный. Под глаза глубоко легли синие круги, на щеках размазана грязь, под носом присох белый налёт, а в уголке рта поблёскивала слюна. Младший

брат выглядел настолько несчастным, что Фёдор воздержался от готовых упрёков, проворчал только:

– Воришка несчастный, сопли подтери.

– Я не сопляк, – Антон обиженно отвернулся, сгорбился и пошёл нетвёрдой походкой.

Но недалеко. Его повело сначала вперёд, потом назад. Мальчик сбился с шага, засеменял и, наконец, неуклюже сел на подогнувшиеся ноги.

– Совсем забегался, – ворчал Фёдор. – Только не ври, что в доме нет куска хлеба, голодом тебя качает.

Он отнёс мальчишку на сеновал. Уходя, напутствовал:

– Матери я ничего не скажу. Но если узнаю, будешь продолжать, я тебя сам одним махом за всё сразу....

Он скрутил что-то невидимое в ладони и дёрнул к себе – будто серпом подрезал колосья.

У Антошки ни с того, ни с сего потекли слёзы.

В то утро в Табыншу пришло лето. Жара струилась по подсыхающей земле, и она запарила под солнцем.

Нюрка Агаркова, не дождавшись сестёр, пошла занимать очередь за кашей. У плетня на куче перепревшего навоза сидел мальчишка лет пяти и, уцепившись тоненькой ручонкой за палку, отталкивал худую женщину, свою мать. А та тянула парнишку к себе. У матери было перекошено от бессилия лицо, у сына – упрямое, с прикушенной губой.

Мальчишка то ли боялся идти дальше, то ли у него не было для этого сил, а женщина, сама, еле двигаясь, не могла уже тащить его. Наконец мать сдалась и отпустила его ручонку. И вдруг затряслась в беззвучных рыданиях так, что страшно было смотреть.

Нюрка знала их: и женщину, и её сына – Ваньку Пинженина, с которым не раз играли вместе.

Ещё издали она заметила толпу ребятишек и нескольких взрослых, собравшуюся посреди улицы там, где белёные мазанки, полузатопленные вишнёвыми садами, расступились, образуя деревенскую площадь. В центре большой котёл на колёсах дымил трубой. Поодаль на траве курили красноармейцы с винтовками. Но всеобщее внимание привлекал приземистый мужчина в штатском. Широкоскулому лицу его, особенно глазам, откровенно не хватало выразительности. Зато уж чего было в избытке, так это железных зубов во рту.

Это он, орудуя поварёшкой, раздавал ребятишкам кашу, вкуснее которой не было ничего на свете. Его любила и узнавала вся деревенская детвора. И Нюрка тоже. Она даже завидовала его собаке, кудлатой дворняжке с репьями на хвосте, которая могла повалиться на спину и заскулить от великого счастья у ног своего хозяина. Сейчас она катает между лапами пустую банку, вылизывая в тысячу первый раз давно выветрившийся запах американской тушёнки. Но ведь Нюрка не дворняжка. Она встала в затылок последней в очереди девочки, прижимая к груди чашку и ложку.

Железзубый дядька открыл огромную крышку котла, его окатило пахучим паром. Быстро перебирая лапами, дворняжка подползла к сапогу своего хозяина – в глянцевого голенище отразилась острая собачья морда.

Началась раздача каши. Получившие свою порцию усаживались на траве. Нюрка быстрым ревнивым взглядом подсматривала за ними. Вот у этой лупоглазой девочки болезненного вида совсем отсутствует аппетит. Соседские мальчишки Шумаковы дождались своей очереди. Старший, Колька взял свою порцию и бочком, бочком в сторонку, жуя на ходу. А младший, Котька, рванулся бежать куда-то и вместе с кашей со всего размаху – в пылюку. Вот умора! Вот дурак!

Нет уж, думала Нюрка, она своего не потеряет – и кашу всю съест и чашку вылижет.

Скулила от нетерпения дворняжка. Народ всё подходил и подходил. Показались Нюркины сёстры. Они вели под руки ослабевшего Антона. Показалась женщина, тащившая сына

за руку, но это был не Ванька Пинженин. Пришла Наталья Тимофеевна с малолетним Егоркой на руках.

Нюрка уже доела свою порцию и вылизывала чашку, вертя её в руках, как та дворняжка банку, когда появилась деревенская дурочка Маряха. Железнодорожный ей отказал, заявив, что каша только для детей. Тогда она села неподалёку на землю и стала раскачиваться, и драть седые космы на непокрытой голове. Её надрывный плач далеко разносился между домами.

– Будь ты проклят! – вопила Маряха, лупя кулаками по земле. – Узнаешь у меня, как обижать старуху.

Устав причитать, она поднялась с земли и, продолжая громко стонать, заковыляла прочь.

Нюрка, набравшись храбрости, ещё раз подошла к котлу. Железнодорожный это заметил.

– Что, мало? – Хмуро спросил он. – Курочка по зёрнышку клюёт, а сыта бывает.

– Не, дяденька, это не мне, – Нюрка ткнула пальцем в угловой дом, – Там мальчик у забора сидит, он сам дойти не может.

– Врёшь, конечно, – нерусский акцент железнодорожного проявился явно, – но как убедительно. И это стоит обедни!

Он щедро перевернул свою поварешку над Нюркиной чашкой, потом подал хлебный ломоть. Девочка не думала никого обманывать, но и не гадала, что ей поверят.

Пинженины, Ванюшка и мать, сидели всё у той же, заросшей лебедой кучи навоза. Пока Ванька торопливо ел, давась непрожёванным хлебом, а мать отрешённо, но неотрывно, смотрела на него, Нюрка играла в считалку, загибая пальчики:

– Птичка-синичка дай молока...

Тем временем Антон Агарков упал в обморок. Должно быть, от запаха каши, решили люди. Его оттащили в сторону и окатили водой из горшка. Он пришёл в себя, но к пище так и не притронулся.

Солнце поднялось совсем высоко, отвесные лучи немилосердно палили землю, дрожало прозрачное марево нагретого воздуха. Фёдор, управившись по хозяйству, ушёл с тележкой в лес – собирать хворост. А когда, возвращаясь, остановился утереть пот, его окликнули из ворот родительского дома.

В комнатах было тихо. Напуганные необъяснимым девчонки жались по углам и друг к другу. Наталья Тимофеевна, вслед за мужем оплакавшая трёх дочерей, без криков и стонаний приняла на свои плечи новое горе. Сидела она за столом в тени закрытого ставнями окна и, не мигая, смотрела на свои руки. Антон лежал на родительской кровати. С одного взгляда было видно, что он мёртв – лицо побледнело и вытянулось, а вокруг закрытых глаз толклись мухи.

Фёдор сразу припомнил и непонятную Антонову слабость и бледность. И даже слова его последние. И чтобы он не делал остаток этого дня, когда хлопотал об устройстве похорон, какая-то доступная загадка тревожила его сознание. Казалось, не хватает лишь малого штриха, зацепочки, чтоб всё стало на свои места, чтобы можно было объяснить необъяснимое. Белый налёт, что засох у Антошки на губе, шилом колот сердце, будил память.

Ночью то и дело принимался хлестать дождь. Ветер налетал порывами, но, не сумев набрать силы, гас. Однако после полуночи непогода стихла, лишь косматые клочья облаков проносились по небосклону, заставляя плясать полную луну. Фёдор, гонимый с матерью и старшими сёстрами у гроба, вышел покурить.

Ночь разлилась тёплая и влажная. У края земли порой вспыхивали зарницы, но грома не слышно. Кто-то проковылял огородом и скрылся под сенью кутеповской бани. И хотя низкие тучи то и дело закрывали луну, а ветер шумел листвою, заглушая все звуки, Фёдор безошибочно определил полуночника.

Вслед за старухой он прошёл в баньку, чиркнул спичкой, поднёс её к морщинистому лицу Кутепихи:

– А ведь это ты, ведьма, брательника моего отравила.

Старуха ничуть не испугалась ни его неожиданному появлению, ни словам.

– И я Феденька, таковская была – последнее с себя отдавала, – её дребезжащий голос звучал, казалось, на пределе старушачьих сил. – А теперь не хочу, чтобы внучка моя с голоду сдохла... и ребялёночек твой. Так-то вот.

Фёдор, удивляясь своему спокойствию, засветил ещё одну спичку, нагнулся, с кучи лома за каменной поднял железный прут и без размаха, вполсилы ударил старуху по голове. Та не шумно упала. Выждав немного, Фёдор наклонился, нашупал костлявую руку. Несколько слабых конвульсий шевельнули пальцы, и сильные вздохи оборвались. Фёдор достал из-за каменки увесистый обломок чугуна, сунул его Кутепихе запазуху, надорвав кофту. Потом взвалил тело на плечо и вышел, пригнув голову.

От озера пахло болотной сыростью, Не доходя до воды, он скинул сапоги, поболтав в воздухе ногами. Прочмокал илистым берегом. В зарослях куги открылся чистый плёс. Зайдя в воду по грудь, Фёдор спустил с плеча труп и погрузил его в тёмную воду. Юбка вздулась пузырьём и тут же опала, с лёгким шипением утянулась на дно.

Фёдор постоял растерянно, посмотрел на свои руки, зачем-то понюхал их и начал отмы-
вать. Забывшись, зачерпнул и хлебнул солоноватую воду. Его стошнило.

Отплёвываясь и кашляя, он брёл к берегу, а потом долго искал в темноте сапоги, и совсем расстроился, когда обнаружил, что подмок табак.

Свадьба

*Люди умные и энергичные борются до конца,
а люди пустые и никуда не годные подчиняются
без малейшей борьбы всем мелким случайностям
своего бессмысленного существования.
(Д. Писарев)*

Человек живёт своей памятью. Если было что в прошлом приятного, счастливого, удачного да забылось, так считай, что и не было ничего. И жизнь начинается с того момента, который первым запомнился.

Для Егорки Агаркова осознанный бег времени начался в январе 1924 года, хотя не было тогда мальчишке и пяти лет. Всю жизнь хорошо помнил он свадьбу старшей сестры, Федосьи, а дату никак не перепутаешь – в те дни страна скорбела по Ленину.

Быть может, отдельные эпизоды привнесены из других временных отрезков, но рассказ о том дне, излагаемый в течение долгой жизни неоднократно, имел свою стройность и завершенность.

Просторный дом с вечера плохо протапливался, а к утру напрочь выстужался. По этой причине обитатели его спали кучно, насколько позволяли лежанки. Егорка, как самый маленький, ложился с матерью на родительской кровати. Нюрка порой, замёрзнув среди ночи, перебежала к ним, что, конечно же, мальчишке не нравилось. Когда во сне их ноги соприкасались, Егорка машинально отдёргивал свою и, в конце концов, свернувшись калачиком в углу кровати, просыпался.

Рассвело.

Мать хлопотала по дому. Егорка услышал, как просыпается Нюрка, чмокает губами, вздыхает, но бранится с ней не стал. Дрожа от холода, поднялся, осторожно ступая босыми ногами по студёным половикам, подошёл к двери и выглянул на кухню. Один её угол был косо освещён солнцем. Там на лавке стояло цинковое корыто с горой набитое сладкими пирожками, шанежками, ватрушками, накрытое простынёй – на свадьбу. А ещё в сенях теснятся чугульки и чашки с холодцом. Там слышны возня и голос матери. На лавке у печи, развалившись пьяным мужиком, закинув ноги на тёплую стенку, спал пушистый кот. Печная пасть набита берёзовыми поленьями, от пучка лучин занимался огонь, хорошо отражаясь в окне напротив.

Наспех одевшись, сунув босые ноги в чужие валенки, тихо, стараясь не скрипеть дверью, Егорка вышел в сени.

– Я всю ночь не спал, – пожаловался он на Нюрку.

– Я тоже ночь не спала, да и как спать: шутка ли – гостей сколько будет, – мать разговаривала с ним, как со взрослым. Ей дела не было до его ребячьих обид.

Егорка вышел из сеней и вздохнул чистый морозный воздух. Солнце светило откуда-то сбоку, а прямо над головой клубился туман. Редкие снежинки по широкой спирали падали с высоты. Вертикально в небо поднимались два белых дыма из прокопченных труб соседних изб, на одном шевелилась чёрная подвижная тень другого.

Справив нужду, защемив меж пальцев соломинку, Егорка, подражая старшему брату Фёдору, «покурил», выпуская клубы пара. Мороз щипнул за нос и щёки, попытался юркнуть за шиворот. Мальчишка бросил, затоптав, «окуроч» и засеменил в избу.

Был он единственным, хоть и маленьким мужиком в семье. Мать и старшие сестрицы баловали его, как могли. Зато от Нюрки хватало обид по самоё горло. После завтрака она заманила его в дальнюю комнату и, пользуясь свадебной суматохой, запёрла там.

Конечно, если бы Егорка принялся стучать и кричать, его бы нашли, а Нюрку наказали. Но уж больно не хотелось признавать своё унижение. Он забрался на кровать, готовый, если сестра всё-таки сжалится и выпустит его, показать полное презрение к происходящему, прислушивался к стукам, брякам, возгласам и смеху – в доме выкупали невесту. Там, конечно же, было веселей и интересней.

Дверь хлопнула в последний раз, голоса стали удаляться и пропали. Егорка уткнулся носом в подушку и заревел. Утопив горе в слезах, он уснул.

Между тем, свадебное гульбище натолкнулось на непреодолимое препятствие – председатель Сельсовета Иван Андреевич Шумаков не только отказал в регистрации молодым, но и пригрозил многими неприятностями веселящимся в дни всенародного траура.

Никто не желал прослыть белоэлементом, и тем более попасть в немилость к власти. Свадебный поезд как-то сам собой рассыпался, многие развернулись по домам. Наталья Тимофеевна блюдя обычай, торжественно и чинно встречала оставшихся у порога. Она кланялась им в пояс, рукой до земли, и говорила нараспев:

– Добро пожаловать, гости дорогие! Прошу не побрезговать угощением, отведать, что Бог послал.

Мужики, бабы проходили, выпивали стоя, кричали, вытирали ладонями губы, закусывали, поздравляли молодых, благодарили хозяйку и... бочком-бочком на улицу.

За столом собрались только близкие родственники.

У Фёдора Агаркова в тот день были и личные неприятности. Фенечка, усмотрев со стороны свекрови какое-то пренебрежение, наотрез отказалась быть на свадьбе и сына не пустила. Фёдор томился своим одиночеством и первым заметил отсутствие Егорки.

– Гости за столом, а хозяин спит.

Егорка проснулся, когда услышал голос старшего брата и почувствовал его широкую и тёплую ладонь на своём плечике. Он оттолкнул её и протёр кулаками глаза.

– Что надулся? Ну, говори уж, что натворил.

– Ещё не натворил, – со вздохом ответил Егорка, – но скоро натворю.

– Ну, когда натворишь, тогда и ответ будешь держать, – сказал Фёдор, – А раньше времени не стоит каяться. Ну, что же ты лежишь? Вставай, угощай гостей.

А сам вместо того, чтобы поднять Егорку, привалился на кровать и придавил его.

Фёдор хоть и держал себя с братом на равных, по возрасту ему в отцы годился – его сын Витька лишь на полгода моложе. Если бы не суровость Фенечки, Егорка дневал и ночевал бы у Фёдора, а племяннику завидовал лютой завистью. Сейчас он был почти счастлив.

– Расскажи про войну, – теребил брата.

– Я её не видел, – улыбнулся Фёдор. – Я от неё по лесам бегал.

– И что, совсем-совсем ничего не видел, не помнишь?

– Один только момент, когда нашу деревню освобождали. Со стороны Михайловки пушка бьёт, а белосвoločь, казачьё там разное огородами драпает. Вот это сам видел.

Вошла мать.

– Что же это вы тут притулились вдвоём? – спросила она.

– Да так, войну вспоминаем, – сказал Фёдор. – Дверь не закрывай, пускай так.

– И ты войну вспоминаешь? – хмельно улыбаясь, спросила мать. Рука её опустилась Егорке на голову. – Сиротинушка ты моя, кровинушка.

– Ага. И я.

– И есть, что вспомнить?

– Ага.

– А ты помнишь, как мы чуть не угорели однажды?

– Не-а. А когда?

– Ты ещё вот такусенький был. Проснулась я тогда, чувствую – задыхаюсь. Поднялась и хлобыстнулась на пол. До двери доползла, открыла. Воздух свежий пошёл – как-то мы отдышались. Выползли потом все на крыльцо и остаток ночи там просидели.

– Холодно было?

– Да, прохладно. Но в дом возвращаться страшно. Так и сидели, дрожа, пока не рассвело. А что ж ты хочешь – бабы, один мужик – и тот на руках.

Между тем, из горницы в приоткрытую дверь доносились возбуждённые голоса, разговор там шёл накалённый. Мать и Фёдор с тревогой поглядывали туда, прислушивались.

– Ну, пойдём, Егорушка, я тебя шанежками покормлю, – позвала за собой Наталья Тимофеевна.

Расположившись по одну сторону стола и повернувшись вполоборота, ругались старшие сёстры, Татьяна и Федосья. Их мужья молчаливой поддержкой сидели рядом, бросали хмурые взгляды друг на друга и стоящие перед ними наполненные стаканы.

– Да ты хоть соображаешь, что говоришь? – кричала, распаяясь, Татьяна. – Ведь я выходила – какое приданое? Постель одна да тряпки кой-какие. Ведь хозяйство-то Егорово. А матери что останется, малышне?

– Да что я ненормальная что ли? – кричала Федосья. – Всегда так бывает – наследство меж детьми делится. Да и кому сейчас по силам такое хозяйство ворочать? Ваньке, вон? Да больно надо. Он теперь днями спит, а ночами с Лизкой шушукается.

Бывший военнопленный австриец Иоганн Штольц сидел в углу стола, в одиночестве, опёршись о стену могучим плечом. Его крючковатый нос казался прозрачным под солнечным лучом. Восемнадцатилетняя Лиза, стройная миловидная девушка, стояла у печной стены, спрятав руки за спиной, от слов сестры широко распахнула томные голубые глаза и ярко зарделась.

– А это уже не ваше дело! – ответила она. – С кем я буду – не ваше дело.

Белое, искажённое лицо Татьяны повернулось к ней:

– Тебе, голуба, тоже наследство подавай?

– Мне, как всем, – сердитая, Лизавета становилась ещё красивей.

– Чего сиднем сидим, мужики? – Фёдор поднял перед собою стакан.

Выпили. Женщины примолкли, косясь на них.

Похрустывая долькой лука, рассудительный Егор, Татьянин муж, сказал:

– Тут надо сразу определиться: если будем что делить – давайте делить, а не ругаться, если нет – то перестаньте кричать: на свадьбе ведь. Как, мать, а? Твоё последнее слово в доме, ... и первое тоже.

– А ты куда торопишься? – решился вставить слово молодожён Илья, приехавший за Федосей из неблизкого Бутаж. – Без нас, наверное, решат, что к чему. Без очереди только на мороз пускают.

Голос его был злой, чёрные кудри задиристо тряслись.

Егорку охватили какое-то отчаяние напополам с весельем: надо же – оказаться в гуще таких событий! Вот если драка разразится, они с Фёдором всем наkostenяют, да ещё Ванька-австрияк пособит. Егорка елозил по лавке, поглядывая на спорящих.

– Ну, чего вам? – обиженно поджала губы Наталья Тимофеевна, – Косилки-молотилки отцовы? Да забирайте, всё равно ржавеют, а скотину не дам – чем же ребятишек кормить стану? Эх, вы... дети, дети.

Если бы не блуждающий пьяный взгляд и неверные движения, мать своим авторитетом смогла бы, наверное, загасить ссору.

– Мать, а ты Ивана спросила? – подалась вперёд Лиза. – Он всё делает-делает, а всё, как работник. Так и останется ни с чем.

Федосья даже побагровела:

– За дуру что ли меня принимаешь? Скажешь, и с Ванькой ещё делится? Всякую ерунду говоришь, голову всем морочишь. Он что, кормить вас будет?

– Ладно, подавись своим куском! – Лизавета проглотила обиду и отвернулась.

– Что такое? – вдруг сделавшись совершенно белой, пробормотала Татьяна.

Егор вскочил из-за стола, схватил её за плечи, иначе бы она, наверное, упала со стула.

Федосья, презрительно поджав губы, посмотрела на неё и отвернулась.

– Что же ты молчишь? – отчаявшись услышать от тёщи вразумительного слова, Егор обратился к Фёдору.

Шурин долго и пристально смотрел на него, потом вдруг неожиданно сказал:

– Отстань!

– Нет уж, – зло говорила пришедшая в себя Татьяна, – как мне, так и всем. Вон Фёдор в одних дырявых портках женился.

– Да? Ваньке всё останется? – закричала Федосья. – А случись что с матерью, он детвору из дому выгонит, нам же на шею повесит.

Штольц молча сидел, напустив на лицо всю имеющуюся суровость. Лизавета, не скрывая тревоги, вздыхала и поглядывала на него. Егорка смотрел на Ваньку и понимал, что не всегда, наверное, он был таким неразговорчивым, каким он привык его видеть, когда-то, должно быть, он тоже бывал весел и беззаботен, болтал и смеялся на своём австрийском языке.

– Плохо ты его знаешь, – выразительно сказала Лизавета.

– Э-э-э! – махнул рукой кудрявый Илья. – Немчура он и есть немчура. А то ещё к себе уедет.

– Что ты брешешь! – задрожала от ярости Лизавета, и перекосившееся лицо её потеряло привлекательность.

– Ну-ну! – Фёдор вскинул на неё укоризненный взгляд.

– А что ты выгораживаешь его, зачем? – Федосья в основном нападала на работника, а теперь коршуном налетела на сестру.

– А тебе какое дело? – хрипло проговорила Лизавета.

– Замуж что ли собралась?

– Может быть.

Небо за окном почернело, пошёл снег. Со столов убрали почти нетронутые закуски, поставили самовар. Пили горячий чай, громко крякая и отдуваясь, лениво переругивались.

– А ты здесь что сидишь – пора спать, – сказала Егорке мать и выставила из-за стола.

– Идём, брат, – подмигнул Фёдор, – Я тебе про войну расскажу.

Егорка разделся и лёг. В полутёмной комнате было прохладно и тихо. Перед глазами поплыли кольца, похожие на полупрозрачные срезы лука. Он вдруг почувствовал, что по щекам его текут горячие и едкие слёзы. Чувствовал, как усталость входит в руки и ноги, доходит до кончиков пальцев, потом подступила дремота.

Егорка ожидал Фёдора и думал о нём. Он уже осознал, что есть две породы людей – одни много говорят, кричат, возмущаются и всегда недовольны, а другие молчат и делают по-своему, и всё у них получается. И ещё он думал, как приятно быть братом человека, у которого всё получается.

Ночью Егорка несколько раз просыпался от громких голосов за дверью. И засыпал, неведая, что там решают и его судьбу.

Договорились всё-таки делиться. Даже дом, крепкий ещё, должен быть разобран. Фёдор получал часть прируба. Старшим дочерям – по амбару.

Лизавета в ту ночь была просватана за контуженного австрияка, и они получили свою долю наследства. Большая семья Кузьмы Васильевича Агаркова распалась, рассыпалось и его хозяйство.

Фёдор давно собирался переехать на хутор, где с землёй было вольготнее, уговорил и мать. Наталья Тимофеевна сильно постарела за эту ночь, стала слезливее.

Расставались родственники хоть и без ругани, но весьма настороженными и без сердечных объятий.

Егорке приснился сон. Странный пирог летал по воздуху, и чьи-то большие руки, высовываясь из тумана, отламывали от него куски. Проснулся он с воспоминанием о коварстве сестры и о том, что он пропустил на свадьбе самое интересное. Но интересное в жизни только начиналось.

Волки

Все живое есть результат борьбы
(В. Белинский)

Теперь уже не помнят, кто и когда вбил первый колышек на Волчанке. Быть может, это было ещё во времена Столыпинской реформы, когда крестьянская Россия поднялась с насиженных мест, и волна переселенцев покатила за Урал. А название осталось, наверное, с той поры, когда, говорили, голодными белыми зимами стаи волков осаждали хутор, резали скот в хлевах, скалились в окна изб.

Леса тогда стояли дремучие, а домов-то было – раз, два и обчёлся. Многие мелкие поселения разорила война и последующий голод – несчастья сбивают людей в кучу. И наоборот, лишь только полегчала жизнь, каждый хочет обзавестись своим углом и куском земли, или, как здесь говорят, – «стремится к богатству».

Всё повторяется, как зима и лето, как обилие и недород, только каждый раз по-иному.

По-новому повела крестьянскую политику Советская власть. И хотя земля, как и было объявлено, нарезалась в удел каждому, кто хотел её обрабатывать, больше поощрялся коллективный труд – ТОЗы, коммуны. Для них – льготы в налогах, льготы в кредитах, для них широко распахнуты двери сельской торговой кооперации.

И вот уже появилась своя, деревенская интеллигенция, что не сеет и не пашет, но всегда при власти, в достатке и почёте. А те, кому надеяться не на кого, и надо было думать за себя и за своих детей, те при всей своей политической близорукости и видимой трудности единичной жизни, делали единственно правильное, что им оставалось делать – кормили себя и страну.

На хуторах люди большей частью в близких или дальних родственных связях. На Волчанке несколько семей Кутеповых, Малютиных, несколько однодворных фамилий. Сюда Фенечка уманила Фёдора, а он мать. Так и Агарковы появились здесь летом 1924 года.

В Табыныше раскатали большой дом, рубленный ещё покойным Кузьмой Васильевичем, а на хуторе поставили из него два. Без помощи людской не обошлось, но основная тяжесть трудов легла на Фёдора и не согнула его, а даже наоборот, как-то расправила. Видного сложения, с трезвым ясным умом, он был тем самым русским мужиком, которым и была крепка Россия испокон веков.

Наталья Тимофеевна, оставшись одна с малолетними детьми на руках, тянулась к старшему сыну всей душой, несмотря на взаимную неприязнь со снохой. С любовью она замечала в Фёдоре, внешне очень похожем на неё, отцовские повадки.

С тех пор, как живёт человечество, сын учится у отца, перенимает каждый его шаг и гордится, становясь похожим на него. Волна нежности затопляла материнскую душу каждый раз, когда видела она обоих ребяташек-однолеток, её Егорку и Фёдорова Витюшку, по-детски высушивших языки, занимающихся взрослыми делами в подручных у её старшего сына.

Порой, встречая его у порога, она говорила:

– Дай я тебя поцелую.

Встав на цыпочки, горячими ладонями брала его за лицо, притягивала к себе.

– Боже, какой ты большой стал. Я, кажется, никогда не привыкну.

Фёдор стоял перед ней, сутулясь от неловкости и своего роста.

– И пахнет от тебя, как от него, – она отворачивалась, сверкнув слезами в глазах, – когда на фронт провожала.

Мать отходила к окну, ссутулившаяся, смуглая, с сединою в волосах. А когда поворачивалась, глаза были уже сухими, только сильнее обычного горели щёки. Жалела мать себя, жалела и Фёдора.

Не складывалась у него жизнь с Фенечкой. Оба молодые, красивые, рослые, на редкость внешне подходившие друг другу, в душе глубоко разнившиеся. Хотя и выставлялась в причину будто бы завистливая свекровь, но дело было не в ней. В Фенечке, подмечал Фёдор, всё яснее проявлялись характерные Кутеповские черты – истеричная скандальность, заносчивость, пренебрежение к тем, кто беднее.

«Ведь я её ненавижу, – совершенно спокойно думал Фёдор о своей жене, вспоминая холодный взгляд и брезгливо поджатые губы. – Только теперь поздно оправдываться, раньше надо было думать да матери слушаться. Живу с ней из-за сына».

В очередной раз уходя к матери от семейной ссоры, думал: «Её бы надо гнать», но чувствовал, что не сможет поднять на жену руку. Он жил, страдая, мучаясь, понукая и сдерживая себя, и думал, что так и живут в семьях.

За воротами на голубом снегу под дробящейся россыпью звёзд он вздохнул морозного воздуха, который глубоко свежим холодом прошёл в лёгкие и вызвал кашель. Он шёл и радовался сам себе, радовался, что вырвался из дому, что в очередной раз сдержался и не ответил криком на крик, радовался, что идёт к матери.

Повизгивал смёрзшийся снег под валенками, встречный ветерок выжимал слёзы. Крупная жёлтая звезда, высоко поднявшись на западе, горела не мигая. Никогда, казалось, не видел он такого бездонного и живого неба, во все глаза следившего за ним.

Луна никак не могла вырваться из хищной пасти одинокого облака. Она была маленькой и блеклой, а тучка – серой, светящейся изнутри. Наконец освободившись, она быстро поплыла прочь, всё увеличиваясь. И когда остановилась, в белом свете её, таинственно изменившимся ночной мир, засинели занесённые снегом крыши изб, в бревенчатых стенах заблестели стёкла окон.

От дворов тянуло дымом и застойным теплом хлеба.

Жадно напиваясь табачным дымом, Фёдор постоял перед крыльцом. В темноте сеней наощупь открыл дверь. Комната с побеленными стенами и потолком, с завешенными окнами, с застоявшейся тишиной и запахом керосина, показалась ярко освещенной. Переступил порог в припорошенных снегом, гулких от мороза валенках, огляделся.

У стола сидела Нюрка, вытянув маленькие босые ступни, и крутила ручку швейной машинки, глядя на блестящее никелированное колесо. Дощатый вымытый и выскобленный ножом стол был завален яичной скорлупой, на нём лежали – круглый хлеб и коровье масло в тарелке, поблёскивающее каплями влаги. Мать разливала молока из глиняной кринки в такие же толстые кружки.

– Садись с нами, – пригласила она Фёдора, не отрывая глаз от белой струи. – Молочка парного хочешь?

Фёдор отказался и старался не смотреть на стол. Ожидая, когда мать и Нюрка кончат ужинать, он сел на табуретку у стены. Смотрел по углам избы широко поставленными от переносицы глазами, взглядом немолодого, спокойного, твёрдого, уверенного в себе человека.

На его голос в дверях горницы показался заспанный Егорка. Утром ли, вечером дети просыпаются румяные, свежие и им сразу же хочется играть. Через мгновение Егорка уже сидел у Фёдора на коленях, и тот путал брата вопросами, сбивал с толку и хохотал довольный, заставляя вздрагивать от счастья его маленькое воробьиное сердце. Мать от стола посматривала на них, и, чувствуя, что веселье у старшего сына не очень-то весёлое, и догадываясь о причине, безуспешно искала его взгляда.

Хрукая валенками по снегу, кто-то пробежал двором. Бухнула входная дверь. Вошла Санька, румяная с мороза, белой изморозью опушённый платок вокруг лица. Увидела Фёдора –

обрадовалась. Подала мягко холодную руку, кольнула серыми в густых ресницах глазами. И брат улыбнулся ей, взял за плечи, потёрся о её щеку своей щетинистой. Такой красивой он не видел сестру ещё ни разу. Невеста!

Санька размотала платок, скинула шубейку и склонилась к умывальнику.

– Ой, мама, с голоду помру!

Мать расставила на столе чашки, вынула из печи закопченный чайник, прибавила фитиля в лампе. В избе стало ещё светлей. Все сели к столу, а их огромные тени заплясали на стенах, теряясь в синеватом сумраке углов. Наталья Тимофеевна выбрала из большого чугуна горячую картошку и с улыбкой («пороссятам варила») поставила в чашке перед Санькой. Рядом огурцы прямо из рассола, хрустящие ледком. Фёдору поднесла полный до краёв стакан самогона. Он сразу построжал – святая минута наступила. Отеческим взором окинул застольников, мысленно сосредоточился.

– Обожди пить, – предупредила Санька, очищая от кожуры картошку. – На.

Крупная картофелина сахарно искрилась вблизи горящей лампы. Он принял её на ладонь, благодарно глянул на сестру:

– Ты любишь такую, в мундирах? Я шибко обожаю да ещё с молочком.

– Налить? – встrepенулась мать и добавила, – Тут земля свежая. Одни глазки садили – и вот какие клубни. Один куст – полведра.

Вслед за Санькой и Фёдором все потянулись к картошке, чистили и макали её в плошку с солью. А он сидел пунцовый от выпитого первача, как все здоровые люди, и тёмные глаза его на чистом лице засветились любовью и душевным покоем. Потом пересел к печи, прикурил, и под его рукой на чугунной плите начало растекаться молочное пятно дыма.

Мать, качая головой и улыбаясь, убирала со стола, рассказывала, вспоминая мужа, как любил он её, какие покупал подарки. В сознании детей отец вырисовывался человеком, подарившем матери большое счастье. Что-то грустное, как тень сожаления, промелькнуло в её лице.

– Вот это была жизнь! – сказала она с глубоким вздохом. – Боже мой, да неужто ж правда такое было? Самой даже не верится.

Фёдор посмотрел на неё с нежностью, граничившей с состраданием. Сколько раз он слышал, как вот так вспоминали о прошлой, дореволюционной жизни. И хотя и тогда порой бывало нелегко, вспоминали о ней, как о великом счастье. Потому что был достаток, и все были вместе.

Наталья Тимофеевна рассказывала, как забрали Кузьму Васильевича в солдаты, как проводила его у Петровской церкви. Рассказывала просто, почти спокойно. Только по щекам сами собой текли слёзы. И видя их, притихла Нюрка, разволновался Егорка, готовый разреветься.

– Да не трави ты себя, – остановила её Санька, – видишь – детвора хнычет.

– Видимо, так на роду ему было писано, – закончила мать и зашмыгала в платок.

Надолго замолчали. Наконец Фёдор поднялся и огляделся, молча прощаясь. Егорка снизу посмотрел на брата, в детских глазах возникла тревога – неужто уходит? Для него это было большей неприятностью, чем слёзы матери.

Наталья Тимофеевна оправилась от переживаний, стянула с плеч платок, уголком гребёнки почесала переносицу. И хотя брови в тот момент высоко поднимала, морщин на лбу собралось мало – старость ещё не тронула её лицо. Провела гребёнкой по волосам, воткнула на затылке, заторопилась высказать уходящему Фёдору:

– Ой, страх, страх! Морозы-те кабы не ударили. Санька-то завтра за сеном собралась. Извеков Борис позвал, прикупил где-то в Татарке. Сам-то хромоногий, а мать его – барыня. Ну, да пусть едет, глядишь – нам возок перепадёт. Всё дело.

Отходя в тень, задом опёршись о прижатые к печи руки, Санька смотрела куда-то вдаль, и во взгляде её светились томная девичья мечта и ликование жизнью, такой прекрасной и непредсказуемой. Она ощущала себя человеком, которому приготовили подарок, и предвкушала удовольствие того момента, когда ей его вручат.

Фёдор оглянулся от порога. Санька и на него взглянула счастливыми, влажными и оттого по-особенному сиявшими глазами.

Было позднее утро, но солнце ещё не показалось. Только по временам сквозь облака ощущалось тепло его, и тогда снег светлел и, казалось, резче звучал под копытами и полозьями.

Недавно выехали с хутора, а у Бориса уже мёрзли ноги. В гражданскую войну был он ранен шрапнелью, когда вёл своих товарищей в атаку. Неверно сросшиеся кости болели, особенно в холода и перед ненастьем. Вдобавок ему нестерпимо хотелось курить, так хотелось, что рот был полон слюны, а он и сплюнуть при девушке стеснялся. Борис шевелил пальцами в тесных пимах, морщился и часто испуганно поглядывал на Саньку, неподвижно сидевшую рядом.

Снежная пыль из-под копыт опушила её с ног до головы, морозный воздух разгумянил. Санька изредка вскидывала на него быстрый любопытный взгляд из-под густых ресниц, таких густых, что серые глаза её казались чёрными. И это мимолётное внимание непонятной радостью взрывало Борисово сердце, боли будто бы отступали. Разговор в пути не клеился, но перестрелка глаз сучать не давала.

К полудню были в Татарке. Борис, оставив Саньку в санях, ушёл обсуждать с хозяином последние детали купли-продажи. А её внимание привлекло старушечье лицо в платочке, прилепившееся к окну. Без любопытства, не мигая, смотрели выцветшие глаза.

Подошёл Борис, прикурил, сладостно затянулся, спросил, шурясь от дыма:

– Не замёрзла?

И уже в санях, бросив окурочек, он вдруг спохватился:

– Вот ведь забыл совсем – как память отшибло. Лопату-то я не взял – чем снег со стога сгребать? Может сходить попросить или вилами управимся? Как думаешь, Александра?

За околицей дорога, пробитая среди белых холмов, до блеска притёрта полозьями. Видно было, что по ней не один день возили сено и на санях, и волоком. На опушке леса накатанная дорога делилась – пути вели вправо, влево и вглубь леса к с лета намётанным стогам. Борис, привстав в санях, огляделся и, усмотрев что-то, уверенно направил лошадь вперёд.

Остановились на лесной поляне у стога-великана, желтевшего крутыми боками. Вокруг, как не оторвавшиеся от земли дымы, стояли берёзы. Санька походила вокруг саней, разминая заочневшие ноги. Борис освободил лошадь от удил, обошёл стог, приглядываясь. Хоть и не был он суеверным, место показалось ему дурным.

С помощью вил и перекинутой через зарод верёвки Санька вскарабкалась на его макушку. Пока она скидывала снег, Борис курил и нервно ходил вокруг саней, зажав под мышкой черенок вил. А потом обнял себя за плечи и почесал спину о берёзу, всё поглядывая по сторонам холодно и настороженно.

Санька наконец-то смогла вволю насмотреться на него. Сверху видны были его спина, жилистая шея, старая шапка, «уши» которой он так и не опустил. Когда прикуривал, пустил струю дыма вверх, и Санька увидела его смуглую щёку, опущенные брови и заиндедевские усы.

Снегу на зарод намело немало. Санька покраснелась, распустила платок, волосы у пылающих щёк закурчавились. Потом и варежки ему скинула – жарко!

Борис томился бездельем внизу.

– Устала? – спросил он.

Санька трясла головой – нет. Ей было весело от того, что они с Борисом вдвоём, что весь посторонний мир остался где-то там, за чертой леса. Лишь по-весеннему яркое солнце во все свои лучи подглядывало за ними, и за это высотный ветер строй за строем гнал на него ослепительно белые облака.

Тень облака скакнула на круп лошади. И словно убоявшись его, она попятилась от стога, напряжённо ставя ноги, вертя головой, шевеля ушами, беспокойно всхрапывая. Сосущее чувство страха возникло в груди у Бориса и опустилось вниз, к ногам. Неосознанное, без реальных причин, как предчувствие.

Вдруг лошадь, точно обезумев, пронзительно заржала, рванулась с места вскачь, волоча сани, путаясь в брошенных вожжах. Борис с криком побежал за ней, широко переваливаясь, припадая на обе ноги, и успел упасть в сани, вырвать из-под лошадиных ног вожжи.

Бесшумными серыми тенями из-за берёз выскочили волки.

Пронзительное лошадиное ржание, крик Борисов вырвали Саньку из душевных грёз. И в следующее мгновение она увидела волков.

– Дядя Боря-а!

Её истошный детский крик будто хлыстом стеганул Извекова в спину. Он ничего не ответил. Встречный ветер рвал ему горло, перехватывая дыхание. Сквозь пелену слёз он видел радужный, расколотый на отдельные эпизоды мир. И лишь с необычной ясностью чувствовал время в двух измерениях – страшную быстроту устремившихся за ним волков и медленность тяжёлого скака лошади. А потерей в этой разнице была его жизнь, на которую осталось совсем уже мало времени.

Волки рассыпались в поле, пытаясь окружить лошадь и седока в санях. Близко- близко оскаленные пасти. Невесть откуда взявшийся пот заливает Борису глаза, щипит прокушенные губы. От крови, давящей на уши, глохли все звуки. Сердце ухало в груди, отдаваясь тяжёлыми толчками в висках. И не хватало воздуха.

Летят мгновения. Страх смертельной тяжестью придавил душу. Вот-вот развязка. И всё это длится, длится, ... нет конца.

Наконец сознание проясняется: волки вязнут в снежной целине – с боков им лошадь не обойти, а накатанная дорога во всю ширь занята санями, с которых тускло поблёскивают вилы в Борисовых руках.

Нет, врешь, не возьмёшь! Мы ещё поборемся. Теперь лишь бы скакун не подвёл.

Волки вернулись. Их матёрый вожак сидит совсем рядом со стогом, косится настороженно.

– Собачка, собачка, – говорит Санька, – иди домой.

Он тихонько рычит в ответ, и чёрная губа приподнимается над синеватыми клыками.

И другие поодаль сидят или лежат на снегу, положив морды на лапы. На каждое движение Саньки вздрагивают, вскакивают, скалят пасти, в беспокойстве перебегают с места на место. Девушка смотрела на них, а глаза её сами бухли влагой, туманились. Слёзы пролились через край. Сидя на стогу, Санька плакала от холода и страха. Руки заледенели, лишь дыхание горячее.

Худющий волк прыгнул на стог, загнав её сердце в самые пятки, но скатился вниз и заскулил, роняя слюну. Санька пригрозила ему вилами, и он метнулся в сторону, поджав хвост.

Девушку знобит уже так, что стучат зубы. Зарыться бы сейчас с головой в сено и дышать себе на руки, но боится даже на миг оторвать взгляд от волков и всё вертит головой – чтобы видеть всех.

День начал угасать, скоро сумерки и ночь. Саньке кажется, что где-то фыркает лошадь, звучат приглушённо голоса. Но волки не обнаруживают беспокойства, готовые и ночь ждать, и ещё бог весть сколько – может той минуты, когда Санька насмерть заоченеет и сама свалится со стога.

Подняв вверх острую морду, вожак внезапно завыл. И вой его, низкий, протяжно-тоскливый повторил зимний лес. Волчий плач внезапно оборвался, как и возник. Вожак заскулил жалобно, со слезой. Повизгивая, беспокойно завертелись волки, а потом разом сорвавшись с места, исчезли в лесу.

Теперь и Санька услышала звуки, потревожившие стаю – лай собак, людские голоса, лошадиное фыркание и снежный скрип под множеством ног, лап, копыт, полозьев. Она скатилась со стога, когда увидела мужиков. Ноги её не держали, но чьи-то сильные руки подхватили её, встряхнули, затормозили.

– Жива? Не поморозилась?

Мелькали незнакомые, участливые лица. Наконец близко-близко одно, родное, на век любимое.

– Саша. Это я, Саша, я.

Борис обнял девушку и поцеловал. Целовал вздрагивающие под его губами веки, помороженные щёки, холодные губы. Целовал оочевневшие пальцы, дышал на них паром, мял её ладони в своих руках.

– Саша, любимая, прости....

Ночевать остались в Татарке.

Гостеприимная хозяйка убрала с плиты чугунок, делала всё быстро:

– Сейчас печь подтопим.

Открыла заслонку. За ней уже сушились сложенные дрова. Подложила бересту, чиркнула спичкой. В просторной кухне запахло берёзовым дымком. Непросохшие поленья, занимаясь огнём, сипели, на закоптившихся торцах закипали дегтярные капли.

Борису хотелось пить, но он боялся зачерпнуть воды – как бы не увидели, что трясутся, просто ходуном ходят его руки, то ли от озноба, то ли от пережитого страха, то ли ещё от чего.

Санька, наконец, согрившись, сидела притихшая, почти торжественная, ни на кого не поднимая взгляда, будто боясь оттолкнуть воспоминания вкуса его губ и запаха усов.

Вошёл со двора хозяин, неторопливо стал разуваться.

– А лошаденку-то запалили.

В присутствии хозяина Извеков осмелел. Напился воды, а прикуривая у печи, сбоку внимательно посмотрел на Саньку, будто впервые видел. В платьишке она казалось крепкой и сильной, какими бывают крестьянские девушки, рано начавшие заниматься физическим трудом. Все они с годами становятся здоровыми, толстыми и весёлыми. Но в Саньке проглядывались какие-то, скорее дворянские черты – благородство линий в посадке головы, в плавных движениях, когда она поправляла разбившуюся косу, в быстром и разумном взгляде серых очей. Это удивляло и влекло Бориса.

Потом они все вместе ужинали, пили «для сугреву», за знакомство и за здоровье, и Санька никак не могла осилить своего стакана.

Хозяин оказался слаб на выпивку – опорожнив с гостями бутылочку, стал донимать жену просьбами и упрёками. И та где-то за печкой зачерпнула ковш неперебродившей браги. Борис пил, держа посуду обеими руками, и морщился от отвращения.

Отвечеряли.

Хозяйка взбила подушки на широкой кровати:

– Спать вместе ляжита?

Промолчали оба – и Санька, и Борис.

Она разделась и юркнула под стёганное одеяло, когда Борис с хозяином вышли до ветру.

Он вернулся, присел на стул у окна, не зная на что решиться. Хозяева вскоре угомонились, дом затих, мерный стук ходиков на стене перекликался с ударами сердца. Взошла луна за окном, и темнота стала проглядней.

Заметив движение на кровати, Борис шёпотом спросил:

– Не спишь, Саша?

– Саша, Саша, – ворчливо ответила она. – Имя мне не нравится. Меня вообще-то Ольгой хотели назвать. А поп упёрся. Хорошо хоть не Николаем.

– Глупая, – его голос рассыпался мелким тёплым смешком.

– Тебе лечиться надо, – строго сказала она. – Такой молодой, а еле ходишь.

– Было хуже, но поднялся.

– Ты, говорят, геройски воевал.

– Нас много таких было. А иначе б не победили.

– У меня брат в партизанах был, – и она начала рассказывать про Фёдора складно, видно было, что не в первый раз, и всё врала.

– Расскажи о себе.

Борис тряхнул кисетом:

– Можно?

– Кури.

Он затаился и начал рассказывать.

– Я только университет закончил, начал в гимназии историю преподавать, а тут революция, гражданская война. У нас в Самаре свой дом был. Мама всё бросила, разыскала меня. Я ведь на Урале по ранению застрял. Потом голод в Поволжье – страшно было возвращаться. Так и прижились. Мама до революции музыке учила, а теперь вот крестьянкой стала. Всё из-за меня...

– Я боюсь твоей матери.

– Варвара Фёдоровна строгая, но человек очень хороший.

Извеков рассказывал о своей матери, а Санька видела её другой, совсем не похожей на портрет сына.

Уперев руки в мощные бока, она стояла посреди двора, и поросята, снуя по двору, тёрлись о её толстые широко расставленные ноги. С лицом откормленного младенца она казалась памятником сытости и довольства. Борис совсем не похож на неё – худой, жилистый и болезненный.

– Фёдор за тятю мстил, а ты зачем на фронт пошёл?

– За свободой, Саня, за равенством, и братством.

– И что?

– Господ-то мы разогнали. Теперь всё в наших руках – как работать будем, так и жить.

Долго разговаривали. Паузы становились всё длительнее, а речи менее связанными. Усталость клонила ко сну.

– Ты спать думаешь? – спросила Санька. – Ложись рядом, только не приставай. Ладно?

Она отвернулась к стене, когда он начал раздеваться. Он лёг рядом и не знал, куда девать руки. Сердце рвануло в бешенный скач. Какой тут сон!

Отпустило, когда он услышал глубокое Санькино дыхание. Тут его настигла накопившаяся усталость и утопила сознание в беспокойном сне.

Уж так устроена деревня и люди её – в глаза все поздравляли Саньку и Бориса со счастливым избавлением от смертельной опасности, а за спиной охотно смаковали сплетни, о романтической истории юной девы и бывшего красногвардейца, в которой и сам факт присутствия волков вскоре опускался.

Как ни жили Извековы обособленно от прочих селян, но и до них дошла новая версия тех памятных событий и вызвала в материнской душе чувство ревности и досады, а у Бориса – недоумение и сопричастность к греху. Все его попытки оправдаться наталкивались на глухую стену непонимания и даже брезгливости в глазах Варвары Фёдоровны.

И тогда он, не поговоривши с матерью, рискуя глубоко и незаслуженно обидеть её, решился на отчаянный шаг, мысли о котором лишь чуть затеплились в душе и не докипели до полной решимости.

Белый дым поднимался над крышами, на улице было светло от луны. У крыльца, где на снегу лежал перекрёщённый рамой жёлтый свет окна, он вдруг оробел – что сказать, как сказать? То спешил, радовался своему решению, а тут решимость потерял.

Поверх занавески в окне был виден белый потолок кухни. Извеков потоптался на крыльце, на мёрзлых, повизгивающих досках, взялся за дверь. Она была не заперта. В сенях натоптано снегом, холод такой же, как во дворе. Две двери, видимо, на кухню и в чулан. В какую постучать? Одна оббита дерюгой для тепла, на другой голые доски.

Постучал в первую, материал глушил звук. Подождал. Нашупал ручку, открыл, шагнул через порог. Пахло керосином, печным теплом. Кашлянул в горсть для приличия, огляделся. Наталья Тимофеевна у печи вскинула на вошедшего встревоженный взгляд.

Борис полукивнул, полупоклонился:

– Скажите, пожалуйста, Саша дома?

– Кака Саша? Санька что ль? Дома, дак чо?

Борис подождал, поглядывая на дверь горницы – может, появится. Но нет, они по-прежнему вдвоём.

– Я, мамаша, о дочери вашей поговорить пришёл, – он улыбнулся, стараясь улыбкой расположить к себе собеседницу.

Но женщина смотрела всё так же настороженно.

– А чо говорить-то? Девка вроде не хуже других. Не балованная.

И вдруг поняла, растерянно потянула ко рту кончик платка:

– А ей не-ет...

– Где же Саша?

– К подружкам убежала.

Вот к этому он оказался не готов. Думал, войдёт, поздоровается, спросит Сашу – согласна ли она стать его женой, а там будь, что будет. Объяснение с матерью не было запланировано и продуманно. Он растерялся, засмутился, затоптался у порога, готовый ретироваться, и ожидал, что, быть может, мудрая женщина подскажет выход из ситуации. Но растерянно молчала и Наталья Тимофеевна, во все глаза смотревшая на гостя, будто видела его впервые, или он ляпнул что-то совсем ей непонятное.

– Давно ушла?

– Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет.

– Ну, ладно.

Он вышел поспешно, будто убежал. А Наталья Тимофеевна опустила на лавку и, покачивая головой, долго невидяще смотрела перед собой, не зная, то ли радоваться чему, то ли плакать, а то ли удивляться.

Со дня на день Извековы ждали отёла коровы. По несколько раз ночами Варвара Фёдоровна будила сына, Борис запахивался в шинель, брал из её рук горящую лампу, ходил в стайку к Бурёнке.

В тот вечер хмурый, взволнованный, скоро отужинав, вызвался ночевать в хлеву. Тепло оделся, прихватил тулуп подмышку и под благодарным взглядом матери отправился на дежурство.

В стайке густо пахло парным навозом. Корова лежала на подстилке, закинув рогатую морду, вылизывала свой вздувшийся живот. Увидев Бориса, жалобно замычала, и видно было, как утробный звук проходит в её напрягшемся горле. За загородкой шарахнулись испуганные овцы, сбились кучей в угол и тарасились оттуда бельмами глаз на светящуюся лампу. Только старый бородатый козёл со своей молоденькой подружкой остались на своих местах, лишь покосились на вошедшего. Эта парочка была предметом особой гордости Варвары Фёдоровны – на хуторе коз не держали.

Борис поставил лампу на заиндевевшее окно, постелил себе соломы и прилёг, завернувшись в тулуп. Подумать было о чём.

Ветер шевелил камыш на крыше, невидимые в сене возились мыши, и под эти звуки стали тяжелеть веки. Внезапно хлопнула дверь, в клубе пара возникла чёрная фигурка.

– Саша, ты? Как нашла меня?

– Окно светило, я и догадалась.

Она опустилась рядом на колени – шубка полурастёгнута, волосы растрёпаны, платок в руке.

– Зачем ты приходил? Мать теперь меня из дому выгонит.

Он взял её за руки, притянул к себе, усадил на колени и начал баюкать, как маленькую. Закрыв глаза, гладил её волосы, лицо, шею. И такая затопляющая радость охватило его, что стало вдруг трудно дышать. А она смеялась беззвучно и стыдливо. Губы у неё были обветренные, она неумело раскрывала их, подставляя сомкнутые влажные и холодные зубы его поцелуям.

А потом в какой-то момент с зажмуренными изо всех сил и вздрагивающими веками лицо её расширилось, заполнило всё, стало вдруг ослепительно, нестерпимо красивым. Сердце его зашлось безумной радостью, а тело воспарило от неземного наслаждения. И долго после они лежали на тулупе рядом, её голова на его руке, и всё как будто покачивалось и кружилось вокруг них.

– А я знала, что ты любишь меня, давно знала, – говорила она, горячо дыша ему в шею и через расстегнутую гимнастёрку нежно трогая кончиками шершавых пальцев мускулы его шеи.

А ему было неловко за свою худобу.

– Вспотел даже, – она засмеялась стыдливо и благодарно. Ладонь её была горячеей, – Руки у тебя сильные, а вот не грубый ты с девушками.

– Какие девушки? Ты у меня одна, и никого больше не было.

На соломе забились корова, как под ножом, вытягивая вверх рогатую морду, выкатывая блестящий глаз. Борис с Санькой встрепенулись, засуетились, забыв о своих радостях.

И только когда появился на свет маленький мокрый телёнок, а корова поднялась и стала шумно вылизывать его парящую шерсть, они вновь благодарно и сопричастно взглянули в глаза друг другу. Вновь накрывшись его тулупом, они миловались, и сердца их готовы были выпрыгнуть из груди.

В это время Наталья Тимофеевна рассказывала Фёдору о странном визите Извекова.

– Так-то он мужик не скандальный, уважительный, да только больной весь, самому нянька нужна – какой из него работник.

– Луна-то как разыгралась, – сказал Фёдор. За окном было светло, как днём, только в тени ворот пролегла граница ночи, а дальше всё ясно видно, и холодом тянет от стекла. – К морозам.

– Она, как я сказала, забегала по дому, ровно мышка, ничего не говорит, а потом шмыг за дверь. Я в окошко стучу, а она двором, простоволосая, платок в руке, другой вот так, вот так машет....

Фёдор молчал, отвернувшись, ладонью прижимал щёку, расправляя мускул, сведённый судорогой.

На следующий день Фёдор окликнул Извекова.

– Погодь-ка, сосед, дело есть. Ты почто девке голову дуришь? – и на короткий миг беспрепятственно заглянул в его глаза, мысли, душу – всё было в смятении, граничащем с испугом.

Сам крепкого сложения, способный много съесть, выпить и без усталости работать, Фёдор с брезгливым недоверием относился к людям хилым, болезненным. И когда при нём говорили, он молчал, но в душе согласен был, что от таких вот можно ожидать чего угодно плохого, любой пакости.

Фёдор взял Извекова за ворот, притянул к себе, другая его рука едва не сомкнулась на худой шее. Момент был критическим – Фёдору ничего не стоило переломить эту цыплячью шею, или придушить Бориса, как котёнка.

Не без труда он сдержался:

– Живи, подлюга!

Оттолкнул Извекова и без замаха ударил кулаком в скулу. Борис как стоял, успел только схватиться руками за воздух, рухнул на спину, с хрястом ударившись о снежный наст. Его глаза через края были полны обидой, болью, ужасом – за что?

А Фёдор отвернулся и пошёл прочь, шёл, и сам того не замечая, отряхивал руку, будто прилипла к ней какая-то гадость.

Весенний гул

*Борьба есть условие жизни:
жизнь умирает, когда оканчивается борьба.
(В. Белинский)*

У каждой поры года найдётся для мальчишек интересное занятие. Весной – это походы в лес за грачиными яйцами, берёзовым соком и, конечно же, – жажда открытий и приключений в отзимовавшем лесу.

Какую тайну скрывают две ямы, найденные на опушке, как два впавших глаза на старом лице земли, поросшие грязно-зелёным мхом? На их месте могли стоять избы, построенные по башкирскому обычаю наполовину в земле. Неподалёку врос в косою холмик наклонный отщеп доски с прорезью. Видимо, стоял здесь когда-то могильный крест.

Витька Агарков, стройный паренёк, с озорным прищуром глаз, прыгнул через ямину и чуть не оскользнулся. Ух, страшно!

Дядя по родству и сверстник по возрасту, Егорка Агарков ревниво косится на него и продолжает пугать детвору:

– Прибежала Санька в избу и говорит: «Кто-то ходит по амбару». Мы тогда шибко напугались. А мамка пришла, пошли всей гурьбой в амбар, а там петля из вожжи на крюку висит, висит и болтается.... Так-то вот.

Миновали опушку. Яркое весеннее солнце легко прорывается меж голых берёз, до боли в глазах отражают ослепительный свет остатки слезливых сугробов. Снег в лесу лишь кое-где остался, пахла прелью оттаявшая земля.

Над головой раздался дробный стук дятла. Привязалась малая пичужка: щебечет, суется, сердится. Но куда ей мальчишек испугать, им даже грачи нипочём – на целую колонию набрели. Крупные чёрные птицы снуют, галдят, поднимают с волглой земли сучья и выкладывают в развилках гнёзда.

– Порра! Порра! – кричат строители.

– А вон тот-то во все гнёзда лезет, сам не работает, – усмотрел кого-то Митенька Алпатов. Но пойдя, разберись в такой суতোлке на кого он смотрит.

Ваня Бредихин, по прозвищу Большой, ещё трое мальчишек и Витя Агарков с ними лезут на берёзы.

– Теперь начнётся! – переполнен восторгом Митенька. – Сейчас турнут их грачи, да с самой верхотуры. Видал, какие у них долбоносики?

С грачами и верно случилось что-то неладное. Воздух взорвался от резкого грая – вся колония дружно взмыла вверх, готовясь к атаке. Невесть откуда взявшиеся сороки расселись поудобнее и принялись громко обсуждать предстоящее сражение. Галки заахали по соседству. Даже расхрабравшийся воробей, бросил своё излюбленное занятие – таскать чужое – сел на ветку рябины, отчаянно затараторил:

– Чья, чья, чья возьмёт?

Мальчишкам как-то удалось добраться до гнёзд, несмотря на то, что грачи, как ястребы, кидались на них, готовы были долбануть своими крепкими клювами и долбанули, наверное, если бы не раздалось сверху:

– Пусто... Пусто... И у меня тоже....

Рано ещё – нет кладки.

Когда зорители спустились на землю, в колонию вернулся привычный деловой настрой.

– Прогнали, язви их, – подсмеивался Митенька Алпатов. – Ты погляди-ка, как дружно поднялись. Были б яйца, непременно скинули, да с самой верхотуры. Вот умора была б.

– В другой раз пойдём с рогатками, – пообещал Большой. – Посмотрим тогда – чья возьмёт.

Грачи вскоре забылись. Мальчишки долбят ямки на стволах, ломают трубчатые стебельки прошлогодних трав, шумно сосут берёзовый сок.

У Егорки заточенная тележная «заноза». Он проковырял кору у наклонного комля, лёг под него на спину. Высоко-высоко, где-то под самыми белыми облаками, бегущими по бездонной синеве апрельского неба, качается голая вершина, а из «ранки» в самый Егоркин рот капля за каплей сбегает сок, напитанный весенними вкусами и ароматами.

Мальчик от блаженства закрывает глаза, а мысли его от заброшенных ям перетекают к двум соседним избам, также похожим друг на друга, и выделявшимся среди хуторских развалюх. У них одинаковые ворота, наличники на окнах, и коньки крыш украшены фигурками голубей. Всё это – дело рук Фёдора.

Брат у него большой и сильный, Егорке в отцы годится, но относится к нему уважительно. Пришёл Витьку в лес позвать, Фёдор работу бросил, сам в избу провёл, телогрейку кинул на печку сушиться, поставил самовар на стол, пододвинул кресло с высокой, покрытой резьбой спинкой.

Оно блестело лаком и походило на трон. К стене притулилась лавка. В края её спускались тонкие деревянные кружева, будто она полотенцем покрыта. Стол тоже Фёдоровой работы. Не простой – узорчатый, на резных ножках. Вешалка из берёзовых сучков, каждый крюк – перевернутая конская головка. Целый табунок у двери.

Вот какой у него брат мастер, думает Егорка. И вспоминает, как неумимо, но не торопясь, и очень красиво работает Фёдор. Обязательно ему надо притронуться к бревну, ощутить тепло доброго и надёжного дерева, насквозь прогретого солнцем, прислушаться к его глубоким вздохам, прежде, чем ткнуть топором.

Мальчишки устают чмокать губами, галдят, бегают с места на место.

Лес стоит высокий, голый, гулкий. Слабое дуновение ветерка доносит ключья седого тумана. Пахнет дымом. Конечно же, это костёр запалили. Вокруг него уже затеян новый разговор.

В лесу нет дерева, на которое бы не садилась сорока, нет такого мальчишки, у которого нет ссадин на локтях или коленях. И теперь они заворачивают рукава, задирают гачи штанов, чтобы показать свои болячки и, перебивая других, поведать о своих злоключениях.

Только у костра заметно становится, как мало в лесу тепла. Солнце лишь радуется уходу зимы, а до настоящего тепла ещё далеко. Коченеют первые комары на кочках. На лужицах ещё с ночного заморозка поблескивает ледок. Мальчишки продавили его, вода холодная, сунься босоногим – обожжёт, как крапивой.

Мальчишеские ноги тоже ведь с нетерпением ждут лета, когда парным теплом приветлива земля, и мурава щекочет огрубевшие ступни, и сладкое ложе уготовлено под каждым кустом. Лес тогда полон жизни и неразгаданных тайн. Вот где может разгуляться мальчишеское воображение. А сейчас только и остаётся вспоминать прошлогодние приключения.

– А помните, как Капкан суслика ловил?

Все расхохотались.

Зверёк шмыгнул в нору из-под самых ног. Мальчишки помочились в его домик, посетовали, что воды рядом нет, и дальше пошли. Витька Агарков сел у норы, на удивлённые расспросы ответил:

– Жрать захочет – вылезет, тут я его и сцапаю.

Природа наделила его долготерпением, а также непоколебимой верой в разумный естественный ход вещей. С того случая и прицепилось к нему прозвище – Капкан.

– А мы летом в Петровку ездили, все в церкву пошли, а я к – попу в сад. Ух, и яблочки! Егорка закатил глаза, ёрничая:

– если в чём грешен – каюсь....

– Бога нет, – снисходительно сообщил ему Витька Капкан, и Егоркино веселье пропало.

Он ковырял веточкой муравьиную кучку – хозяев не было видно. От них летом, как от комаров, докука, но строить они мастера. Егорка-то помнит, как больно они кусают исцарапанные в кровь ноги, и грязь нипочём.

Спит ещё лес. Совершенно немой стоит, ни единого звука. Снижаясь к водоёму, над лесом просвистели утки.

– Эх, Дулю бы сюда, – задрал голову Митенька Алпатов.

Дедулей, к большому неудовольствию Якова Ивановича Малютина, известного на всю округу охотника, называл малолетний внук.

– Дуля какая-то получается, – ворчал старик.

Так и прицепилось.

– Ты, Совок, не брешь, – цвиркнул слюной сквозь зубы Ваня Больной. – Надьсь сам слышал от него, что, мол, отжил своё и на охоту отходил. Теперь только для бабьей работы и годен – ну, там, гусят попасть или телёнка напоить.

Заспорили.

Пацаны уважали деда за простоту и общительный нрав. Егорка, единственный хуторский сирота, пользовался особой его благосклонностью.

Припомнился недавний разговор.

– Плохи мои дела, Кузьмич, эх плохи. Чёрт привиделся. Не знаю, но вишь, как бывает, – он заглянул мальчику в глаза и доверительно спросил. – Ты чёрта видел?

Егорка подумал, блажит старик, разыгрывает – обиделся на него.

– Вот ещё, – грубо так сказал, – буду я верить в бабьи сказки.

Старик огляделся по сторонам, перекрестился и перешёл на шёпот:

– Рогатый такой, из-за печки выглянул и пальцем к себе манит. И не пьяный я был. Так, чуть-чуть. Это значит к смерти, Кузьмич. Когда чёрт манит – готовь смертное.

День-два спустя завyla Дулина собака. Хозяин только со двора, она морду в небо и.... Ночами спать мешала. Хуторские советовали прибить.

А Дуля сказал Егорке:

– Нет, собаку не обманешь, она покойника за неделю чует. Быть в хуторе похоронам. А поскольку тут я самый старый, то мне и черед....

Насидевшись у костра, поев печёной картошки, мальчишки снова бегают по лесу, лупят по стволам сухими палками, обстреливая друг друга их обломками.

Вдруг из-под ног скакнул серый клубок, шмыгнул за ствол и затаился.

И разом взорвался лес многоголосьем:

– Заяц!.. Заяц!.. Заяц!.. Заяц!..

– Мой! Мой! Мой! – кричит Егорка, бежит вместе со всеми, размахивая «занозой». Но куда ему поспеть! Вон Витька легко скачет в ботиночках, а у него сапоги с чужой ноги – бахилы.

Зайчишка двухнедельный, глупый, не уразумел ещё силу своих ног, всё пытается спрятаться – отбежит и сядет, прижмётся к земле.

– Стой, поца! – сипит Егорка, задыхаясь, сильно раздувая живот и грудь. – Его окружить надо.

Но кто будет слушать чужих советов, когда добыча – вот она, рядом. Того и гляди настигнут. Чуть не плачет Егорка от обиды. Ключей сам себя обзывает, да посолонее не раз уж помянул. Мелькнула меж берёз пушистая спинка с прижатыми ушами, и ещё истошный писк раздался.

Вот тут-то у него и забегали мурашки по спине. Скинул Егорка сапоги, и так понёсся босоногий, что ветер засвистел у него в ушах. Мигом обогнал всю изрядно запыхавшуюся компанию. Зайчишка рядом мечется, ему теперь и времени присесть нет – вот-вот настигнут.

Вдруг сбоку вырвался вперёд Витька Агарков – тоже босоногий, белорозовые ступни беззащитно мелькают на стылой сырой земле, хрустят ноздреватым ледяным настом сугробов, разбрызгивают в стороны грязь и воду. Он – гибкий и быстроногий, Егорка тяжелее. Остальные далеко отстали, и только кому-то из них должно повезти.

Зайчишка петляет, давая преимущества то одному своему преследователю, то другому. Сучки, прошлогодние колючки, жёсткий снег царапают ноги, талая вода обжигает кожу. Но до того ли тут – азарт погони захватил с головой.

Егорка несколько раз кидал «занозу» и, наконец, попал – зайчишка пронзительно всхлипнул, закрутился волчком и затих, завалившись набок. Тельце его вытянулось в последнем прыжке, лапки мелко вздрагивали в предсмертной судороге, а из нежно-розовых ноздрей капля за каплей, не марая атласной шубки, сбегала кровь.

У Витьки взор затуманился от жалости. А Егорка ушёл искать сапоги.

Сушились у костра, помыв штаны и ноги в талой воде.

– Через такое дело и простыть недолго, – сочувствовали пацаны и вспоминали, как зимой проваливались в проруби на болоте, как сушились у камышового костра, стоя босыми на льду.

Голод, холод и усталость напомнили о доме.

Чуть засумерничало за окном, Егорка завалился спать, чувствуя себя разбитым и усталым. Вернувшаяся с улицы Нюрка, снаушничала матери о его лесных подвигах. И тут началось – шлепки, упрёки, торможения. Егорку заставили до испарины, до изнеможения пить чай с малиной, греть в горячей воде ноги, вдыхать пары кипящей в чугунке картошки. Даже полкружки самогона заставили его выпить, и ещё две мать втёрла в его разомлевшее тело.

Жар настиг мальчишку к утру. Горло обметало, голос пропал, кашель раздирал грудь. Егорка часто и гулко «бухал», зарываясь в подушку, а мать плакала и бранилась, сидя у его кровати.

У Витьки Капкана не было любопытной и болтливой сестры. Коварная простуда, глубока проникшая в его детский организм, обнаружилась лишь поздним утром, когда он не встал к завтраку, а лежал в ознобе. К полудню он запыхал жаром, впал в беспамятство и начал бредить. С трудом дышал, в груди его что-то хрипело и взбулькивало.

Фенечка всё растирала его босые ступни, а, потеряв надежду, пронзительно заголосила, осыпая их поцелуями.

Фёдор, каменно стиснув челюсти, менял мокрые платки на лбу сына. Он не верил в худшее, гнал от себя чёрные мысли и всё больше впадал в отчаяние от своего бессилия.

Егорка почувствовал себя бодрее и встал с постели в тот день, когда хоронили Витьку Капкана. Он из окна смотрел, как собиралась скудная процессия у ворот брата. Не только слабость, но и глубоко угнездившееся чувство вины держали его дома.

Страшное слово

*Нет, лучше с бурей силы мерить,
Последний миг борьбе отдать,
Чем выбраться на тихий берег
И раны горестно считать.*
(А. Мицкевич)

Как-то в Рождество гостил Фёдор Агарков в деревушке Соломатово у сестры Татьяны. Встретил там юную жёнку Игната Дергалёва Матрёну, большеглазую, нежноликую, умевшую вести непринуждённый разговор с таким милым хохлацким акцентом, что с того необыкновенного дня и плавилось в сладкой боли потрясённое Фёдорово сердце. Только вечер один был с нею рядом на соседской пирушке и до самой весны помнил её ласкающие взоры, будто искрами осыпающие его душу, помнил её мимолётную улыбку на подвижных припухлых губах.

Муж красавицы, председатель Соломатовского ТОЗа, Игнат Дергалёв раздражался, когда на людях жена нет-нет да и стрельнёт по сторонам тёмно-синими тревожащими глазами или поведёт ими с нарочитой ленивой медлительностью. И если поймает на себе чей-то восхищённый взгляд или заметит, что в компании нет женщины краше и наряднее её, сразу будто светлеет лицом, оживляется, становится ещё внимательнее к мужу, ещё приветливее, то и дело обнажая в улыбке ровные белые зубы. Тогда в нём поднимался вихрь протеста. Ему вдруг начинало казаться, что в поведении Матрёны всё напускное и манерное, даже это заботливое внимание к нему.

Иногда он не сдерживался и попрекал её, на что она в ответ, на мгновение изумившись, тут же весело хохотала и, поигрывая гнутыми бровями, говорила всякие нежные глупости. Казалось, сама мысль о том, что муж ревнует, забавляла и даже радовала её. А дома потом насмешливо говорила, что он мужик, лишён рыцарских наклонностей, не умеет с юмором смотреть на женские слабости, не хочет понять, что красивая женщина для того и красива, чтобы возбуждать к себе любопытство, и своей красотой нести добрым людям радость, а завистливым – огорчение.

Не ускользнул от Игнатового взгляда интерес к его жене Фёдора Агаркова. Под самую Пасху, увидев его вновь в своей деревне, буркнул жене:

– Опять этот волчанский верзила здесь. Если снова будет вязаться, кликну мужиков – мы его умоем. Да ты сама-то, смотри, не подгадь...

Расставляя на столе чашки, Матрёна смерила мужа будто оценивающим взглядом, тут же, картинно опустив глаза, снисходительно хмыкнула, чуть шевельнув уголками губ и раздув ноздри тонкого прямого носа.

Сложна и извилиста иная судьба человеческая. Её роком оказалась гордая полячка Марта с труднопроизносимой на русском языке фамилией, наследница богатого хутора на берегу Вислы, в медвежьем углу Южного Урала. То ли улестил её выздоравливающий от ран красноармеец Игнат Дергалёв, то ли опостылел отчий дом, то ли честолюбивые мечты о неизвестной красивой жизни затуманили разум – кто знает. Но вот она уже мужняя, хоть и невенчаная жена, форсит, пусть только по праздникам, уборами и природною своею красотой. А повседневный быт – тяжёлая и грязная работа по хозяйству, заурядный и ревнивый муж.

О том ли мечталось?

Егор Шамин уважал Фёдора, рад был гостю. Допоздна засиделись за столом, изрядно осоловели.

– Ну, давай по последней, – хозяин поднял наполненный стакан. – Стременную, говорят казаки.

– Федя, я тебе в горенке постелила, – из темноты раздался Татьянин голос.

И вот он в постели, один на один со своими думами. Думать о сыне тяжело. Вынянчил его с пелёнок, дорожил, как бесценным сокровищем, в которое вкладывал всё доброе, чему научила его жизнь, что постиг в собственных исканиях, сомнениях, заблуждениях. Витя был зеркалом его души.

Воспоминания о сыне подкатили к сердцу всегда пугающую горячую боль. И не унять её никакими лекарствами. Скорбь не внемлет рассудку. Ну, конечно же, Витюшка, его гордость и надежда, жил бы и сейчас, если б не мальчишеское безрассудство, баловство, случайность. Кого теперь винить? Не досмотрел, не упредил, не уберёг....

Фёдор, на зависть многим мужикам, был крепок в выпивке. А сейчас почувствовал, как хмель догоняет его. Вдруг ощутил вокруг себя чёрную бездну, среди которой куда-то плыла, чуть покачиваясь, невесомая кровать с его потерявшим вес телом. Он силился понять, откуда взялась такая лёгкость, и, подивившись столь необычному состоянию, хотел придержать одеяло, чтобы оно не соскользнуло куда-нибудь в пустоту, но не нашёл своих рук, да и тело вдруг куда-то запропало, одна голова от него осталась, и мысли в ней.

Засыпаю, с отчётливой ясностью, спокойно подумал он и напряг память, чтобы из глубин её вызволить желанный женский образ. Ему показалось, что шевельнулась в углу чья-то лёгкая тень и растаяла сразу. «Где же ты?», – напряг он воображение. Тень будто вновь шевельнулась, приблизилась. Лицо начало угадываться, только вот черты не разобрать. Фёдор затаил дыхание, чтоб не спугнуть видение, а когда закончился воздух в груди, вздохнуть уже не нашлось сил....

Фёдор спал.

Петровка церковью, Табыныша хлебными торгами, Мордвиновка конскими бегами – у каждого села иль деревеньки есть, чем прихвастнуть. Соломатово славилось на всю округу катанием крашенных куриных яиц. Непревзойдённые мастера этой старинной исконно русской забавы, будто нарочно подобрались в соседи. Пасха для них – первейший праздник. Ушатами, говорили старики, ушатами иной раз мерили здесь выигрыш. Всем миром с любовью строили замысловатый каток.

Ещё играли в «чику» – стучали яйца острыми концами, проломивший чужую скорлупу – выигрывал.

А чем и как их только не красили – любо-дорого посмотреть! Одним словом – Пасха!

Забота председателя ТОЗа осмотреть – готов ли каток, чисто ли на улицах, убран ли зимний мусор. Шутка ли – столь народу понаедет! Может, и начальство из района. Тут, как говорится, вовремя показаться – не ударить в грязь лицом. А весна ведь только начинается: грязи этой полным-полно. В огородах, близком лесу, ещё слезятся сугробы, и у хлевов навозные кучи под самую крышу.

Идёт Дергалёв со свитой по улице, подмечает недостатки. Лицо его, коричневое от курения и пьянства, всё более темнеет. Крупный нос, нависший над тонкими губами, недовольно раздувается. Бесцветные брови от возмущения всё выше поднимают морщины на узком лбу. Маленькие глазки смотрят зло, готовы испепелить. Ну, попадёт сейчас кому-то.

Со двора общественного пастуха Петра Орлова разноголосо мычит скотина.

– Опять не кормлена, не поена, – скрипит зубами Дергалёв, – Видать хозяева в загуле. Вот подобрался бес да сатана в одну упряжку. Ну, я им сейчас....

Сунулся в калитку, оттуда морда буланая, рогатая – мирской бык Бугай, ревёт грозно, головой мотает, непривязанный по двору расхаживает. Телком вскладчину покупали – эвон какой вымахал, никого в деревне признавать не хочет, только Настю Орлову, когда она с хлебом, да Митрича, если тот с кнутом.

Бык двинулся к Дергалёву, тот попятился, струхнув изрядно, да с испугу калитку не прикрыл. Игнат оглянулся раз-другой по сторонам, ища пути к отступлению. А бык, нагибая голову, пыхтя и прицеливаясь рогами, мелкими шажком подкрадывался к нему. А потом,

точно пружинами подброшенный, кинулся вперёд. Оказавшись на улице, высоко задрал хвост, радостно мотнул головой, издав утробный устрашающий рык, как гончая, увидевшая зайца, помчался за Дергалёвым.

– Бык! Бы – ык! – заорали вдоль улицы, и кто куда.

Охваченный ужасом Игнат бежал изо всей мочи, высоко закидывая ноги, пересиливая странный паралич, когда будто во сне отнимаются колени, и кружится голова. Похолодевшей спиной чувствовал, как целятся в неё огромные рога, и ждал рокового удара. И верно: сзади раздавался тяжёлый топот, в двух шагах от него скакал громадный бык – пар из ноздрей, хвост трубой:

У – у – у – у! Запорю-у!

– В сторону! В сторону! – кричали из-за плетней. – В сторону вертанысь!

Сбитый ударом в спину, Дергалёв упал в грязь и затих, то ли оглушённый, то ли до смерти напуганный. Бык, стоя над ним, мычал низким утробным рёвом, наклонял голову, передним копытом бил землю, будто приглашая врага продолжить поединок, и, как лев, бил себя хвостом по бокам.

Все, наблюдавшие эту картину, разом ахнули и в оцепенении замерли.

Со двора Егора Шамина выскочил Фёдор с крепкой палкой, подбежал и – хлясть! – быка по ляжке. Тот легко обернулся и на Агаркова. И так ловко и быстро, что Фёдор на миг растерялся. Успел только увернуться от грозящего смертью или увечьем удара рогов и кинулся бегом прочь. Не к плетню, не под защиту ближайших ворот. Первородный проснувшийся страх, также, как минуту назад Дергалёва, гнал его вперёд, вдоль по улице. Улица широкая, ещё не просохла от весенней распутицы. Фёдор так смачно и часто зачавкал сапогами по грязи, будто в два цепа замолотил.

Улица оборвалась, и начался лес. На опушке – нерастаявший сугроб. Он и спас Фёдора – с разбегу плюхнулся животом и кубарем покатился по снегу. Бык ударился всей массой и увяз.

Чувствуя себя вне опасности, Фёдор лёг на спину, закрыл глаза и вздохнул так, словно вырвалась из груди его живая душа. Разом вспомнилось далёкое, вспомнился отец и вся жизнь.

Отдышавшись, он поднялся, подобрал оброненную палку, зайдя сзади, намотал конец хвоста на кулак.

– Геть! – Фёдор ударил быка с оттяжкой, тем страшным ударом, когда дубина, со свистом рассекая воздух, ложится всею длиной своей, оставляя на шкуре лиловые бугры.

– Геть! – повторил он удар по другому боку.

Хх – хляп! – как в воду влепилась палка.

Бык ухнул, ошалело рванулся вперёд, буравя сугроб.

– Геть! Геть! Геть! – звучало по лесу, и будто эхо вторило ему – Хляп! Хляп! Хляп!

Бык ревел и рвался, всею своей массой пробивая сугроб. Наконец вырвался из снежного плена, оставив за собой широко пробитый проход. Осипший от рёва, он бросился вперёд, споткнулся о пенёк и, пропахав коленями две борозды, вскочил, мотая рогами, кинулся вглубь леса.

Народ, собравшийся у околицы, приветствовал победу Фёдора.

Расходились довольные, каждый на своё – девки с парнями на гулянку готовиться, бабы коров доить, мужики скотину убирать.

Впереди вечер, шумный праздничный вечер. Пасха!

Егор и Татьяна Шамины знали о Фёдоре больше, нежели Дергалёв и все деревенские кумушки. После смерти сына дом его опустел. Фенечка, еле оправившись от потрясения, вдруг стала набожною, зачастила в церковь, а потом и совсем переехала в Петровку в бесплатные работницы к отцу Александру, замаливать свои и мирские грехи. Недавно Шамины видели её – исхудалую, бледную, с печальными глазами, будто видящими нечто такое, чего им, грешным людям, никак не увидеть.

Знали они, что Фёдор не удерживал Фенечку, и расстались они легко и вежливо, как случайные прохожие. Вся родня теперь гадала, на ком остановит он свой выбор – ещё молодой, красивый и сильный мужик, работающий и серьёзный. Любая девка будет рада такому жениху.

И вот неожиданная встреча в Соломатово....

Заметили, он будто бы проснулся от долгого, бесцветного сна и, наконец, возвратился в сверкающую красотой и манящую надеждами жизнь. Он и сам пока не в силах был постичь разумом, что случилось в тот короткий рождественский вечер на хмельной пирушке. Думал, думал, измучился и, наконец, взял да и приехал за ответом, прежде всего от самого себя – нужна ли ему эта лукавая хохлушка, мужняя жена.

Вырядившись в Егоров костюм – свой-то от быка пострадал, Фёдор пошёл на Гульбище.

Народу полным-полно. И игры в самом разгаре. Всяк желающий подходи, клади яйцо на круг и жди своей очереди, дождавшись – пускай другое по желобу. Заденет чьё – твоя добыча, нет – останется в кругу. «Каток» – игра для серьёзных людей. Бабы, ребяташки – те всё больше в «чику» забавляются.

Фёдор, искусный столяр, приготовил к Игрищам ловкую обманку: вырезал из деревяшки яйцо – не отличишь от настоящего. Покрасил, даже свинца в дырочку залил, замерив вес на рычажках. Да забыл его дома. Теперь, глядя на возбуждённые старушечьи лица, и не пожалел об этом. Не дай Бог, шутка, обман его откроется – отметелят вот эти самые, «шарбатые», за милую душу отметелят. Вишь, каким азартом горят выцветшие глаза, до хрипа спорят, ни в чём мальчикам не уступают.

Кто-то сзади легко тронул его за локоть, и нездешний говорок проворковал:

– Чем отважному пану обязана благодарная супруга?

Фёдор обернулся – она! От неожиданности в груди его что-то взорвалось, и в голову со звоном ударила горячая кровь. Он даже назад отшатнулся. Не нашёлся, что сказать. С немым восторгом смотрел он в её лукавые глаза, вспыхнувшее румянцем самое прекрасное на свете лицо, и ощущал, как закипает в душе то прежнее, оказывается – никуда не денешься – не погасшее с Рождества чувство.

А рядом стоял Дергалёв, настороженно и хмуро посматривал на него, Рассудок подсказал ему, что, если самому ввести этого верзилу в тщательно оберегаемый сад, он не посмеет там мять и рвать цветы – совесть не позволит. И почему-то ему верилось, что всё будет только так, как он пожелает и решит – ведь он, Игнат, умнее этих голубков. Он-то видит, как между ними незримые проскакивают искры, идёт взаимолобовование, будто в зеркало заглядываются друг на друга. Не беспричинно лучатся её глаза, цветёт улыбка и переливается ласковый голосок:

– Чи пан только с палкою смел?

Фёдору было жутко и радостно от того, что творилось в душе. Сейчас он заболел той тяжёлой болезнью, которая в его возрасте без следа уже не проходит. И ни на что спасительное невозможно было надеяться, хотя во всех, даже самых опасных перипетиях судьбы Фёдор Кузьмич всегда на что-то уповал. Он обречённо думал, что уже никакая сила не образумит его теперь, ничто не спасёт от этих бездонных тёмно-синих омутов, что влекут и манят в свою глубину.

От полного онемения на почве восторженной влюблённости спас его общественный пастух Митрич. Он, как Дергалёв, был мал ростом, но говорил сильным баском:

– Ентот что ль? Ни в жисть бы не поверил, кабы сам не набегался.... Еле как загнал Бугая домой. Чем ты его запугал так, мил человек?

– Я, дед, слово страшное знаю, – радостно откликнулся Фёдор и подмигнул. – Заговоренное.

– Пойдём – покажешь. Не поверю, покуль не увижу.

– Ну, пойдём, – усмехнулся Фёдор, – Коль быка не жалко.

Матрёна выпустила мужнин локоть и подхватила Фёдора под руку:

– Тоже любопытствую.

Следом потянулась немалая толпа, а последним плёлся Дергалёв, угрюмый, терзаемый ревностью и дурными предчувствиями.

Старый знакомец, как ни в чём не бывало, победно ходил по деннику, воинственно помахиал рогами и дёрнулся было на прясла, навстречу подходящему народу, но, увидев Фёдора, отступил.

– Смотри, дед, – Фёдор осторожно освободил из-под локтя Матрёнину руку, шагнул вперёд.

Бык глухо заревел, копая копытом землю.

– Геть! – кинулся будто на него Фёдор, замахнувшись пустой рукой.

Бык ухнул, дакнул задом заплот, легко смял и понёсся прочь на простор огорода, высоко подкидывая комья сырой земли, глубоко рая не просохшие прошлогодние грядки.

– Ах, мать чесная, совсем сгубили животину, – горестно причитая, побежал в огород Митрич.

Следом народ гогочет:

– Сам ты чёрт-дьявол, вырастил сатану.

Смеялись от того, что смешно было глядеть на маленького сердитого человека, катышем катившегося по огороду, отскакивая от каждой кочки. И ещё от того, что, наконец, посрамили свирепого Бугая и его хозяина, державших в страхе всю деревню.

Вернулись на Игрища, забыли про быка.

Вновь мельтешат, крутятся, переходят из рук в руки крашенные яйца. Играет гармонь, пляшут и поют девки. Парни, мужики «причашаются» тут и там. Весело всем!

Только Фёдор всё не мог отвести горевшие восторгом глаза от Матрёны, от её погрустневшего, обрамленного цветастым платком лица.

Похоже, Дергалёв что-то шепнул ей под шумок нелицеприятное. Веки её глаз были опущены, лишь иногда она поднимала затуманенный печалью взгляд. А когда встречалась со взглядом Фёдора, глаза её в тот миг прояснялись, и он читал в них тихий укор. Она как бы старалась успокоить его – робко просила не смотреть на неё так, не страдать, не мучиться.

А Фёдору казалось, она и упрекает его: будто он в том виноват, что стоит она под руку с маленьким, плюгавым, уже изрядно захмелевшим мужичком, а не с ним – таким храбрым и сильным.

Когда ушла она с мужем, и для него стало одиноко в людском водовороте. Почувствовал голод и лёгкое головокружение от нестерпимого желания выпить, разгрузить голову от треволнений.

За окном совсем стемнело. Со двора вошла встревоженная Татьяна, кивнула на дверь:

– Фёдор... там тебя...

Переглянулись с зятем. На миг опаска холодной рукой коснулась сердца, но хмельной азарт пересилил.

– Щас, – кивнул Егору и вышел, не одеваясь.

К калитке пристыл тёмный силуэт. Сердце радостно забило от желанной встречи. Она! Даже в потёмках рассмотрел её красивый нежный профиль и огромные блестящие глаза.

– Уезжай сейчас, утра не жди, – шепнули рядом желанные губы. – Игнат задумал что-то, сидит, пьёт с мужиками, тебя поминают. Берегись...

Нет больше сил сдержаться – Фёдор обнял её за плечи и крепко-крепко поцеловал.

Отдышавшись:

– Едем со мной, голуба. Больше жизни любить стану.

Он ждал, что она ответит, но Матрёна молчала. Потом вдруг обняла его шею и крепко-крепко поцеловала.

Демьян Попов, закадычный друг председателя Соломатовского ТОЗа, сидя напротив через стол, вглядывался в Дергалёва. Лицо Игната заметно изменилось – легли глубокие тени под глазами, и сами они стали жёсткими, колючими, ещё сильнее утончились губы, будто расширив разрез рта, приобрёл угловатость тяжёлый подбородок. Впалые щёки стали землисто-серыми, чётче обозначились почерневшие оспины. Пьяным голосом бубнил Игнат о своей загубленной жизни.

Всё началось с того памятного сабельного удара в польском походе. Раненый в плечо Дергалёв упал с коня и потерял сознание. Пришёл в себя на чьём-то сеновале, перевязанный. Первое, что увидел в косом луче солнца, падавшем сквозь худую соломенную крышу, был кувшин на коленях у сидевшей рядом девушки. Пока поила его водой, он рассмотрел большие синие глаза под чёрными надломленными бровями, нежный овал лица южной красавицы, такой непохожей на уральских девок. Впрочем, истинную красоту Марты, дочери польского шляхтича, на хуторе которого отлёживался Игнат, он познал позже и влюбился без памяти.

Хитрый шляхтич подобрал и лечил раненого красногвардейца, чтобы использовать в нужный момент в нужном назначении. Плен и унижения грозили Дергалёву – подорвала свои силы могучая Красная армия под Варшавой. Но Марта спасла любовника. Бежали они с хутора тёмной ночью и после многих злоключений стали мужем и женой в родном Игнату Соломатово.

Всё это и с большими подробностями знал Демьян. От греха спаивая теперь своего приятеля, он с тревогой разглядывал до неузнаваемости изменившееся лицо Дергалёва с печатью обречённости. Вот она, любовь окающая, думалось Попову.

– Никакого самочинства, – голос Демьяна витал над столом, – Тебя, как председателя, за такое в районе по головке не погладят. Мы его и так, по закону достанем. Надо только правильно бумагу составить. В девятнадцатом году батька-то его с беляками путался. На фронте ему и сказали наши последнее слово. А сам-то он по лесам шнырял, должно быть, в банде у Лагутина обретался.

– Ну-ну... Расскажи! – Игнат уронил голову на руки и вновь тяжело поднял. – В банде? Попов некоторое время молчал, собираясь с мыслями, а затем стал рассказывать.

Наехали казаки в деревню харчами запастись да и заночевали. Делили добро, награбленное у башкирцев.

Петька, брат, возьми да и спроси:

– За что бедных башкирцев убиваете? Люди же.

– Они, мужик, татарва немытая, – говорит Лагутин. – Ты что, с ними в родстве?

– Неужели вы, господин казак, их за людей не считаете за то, что они Магомету поклоняются?

– А ты сам-то чей будешь?

– Я с ними торги веду. Я им хлеб, они мне кожи да мясо, да мало ли чего.

– Ага! Ну-ка, хлопцы, всыпьте этому другу магометцев сто плетей.

Сотню он не выдержал, похворал немного и помер.

– Ну и что, Фёдор этот с ними был?

– Не видел.

– То-то, что «не видел».

Да ты не убивайся так, – хлопнул Демьян приятеля по плечу. – Надежда – хлеб несчастливца.

– Это я-то несчастливый? – встрепенулся Игнат. – Да ты же, Косоротый, первый, мне завидуешь, от своей хромоножки отворачиваешься на мою басеньку заглядываешься.

Попов отшатнулся, обиженный за колченогую от рождения жену и деревенское своё прозвище, буркнул, хлебнув самогона:

– Твоя басенька не по тебе сохнет, не для тебя цветёт.

– Как это?

– Таких баб знаешь, как держать надо? – Демьян сжал кулак перед носом Дергалёва. – А ты – хлюпик, сопли со слезой мешаешь да жалишься, ждёшь, когда она на стороне натешится, да к тебе вернётся.

– Это я хлюпик? На стороне тешится? – Игнат пошарил вокруг себя взглядом, подхватился из-за стола и ринулся в спальню, на ходу выдёргивая ремень из брюк. – Запорю паскуду!

Кровать была пуста. Мужики растерянно топтались на месте, оглядывая сумрачные углы и друг друга.

– Я знаю, где искать, – нашёлся Демьян. – Айда к Шаминам.

Испуганная Татьяна распахнула калитку непрошенным гостям, отступила к крыльцу:

– Засветло уехал. Вон смотрите – ни лошади, ни телеги – нет Фёдора.

Демьян покликнул приятелей. В двухместный ходок взгромоздились шестеро мужиков и погнали по волчанской дороге самого резвого ТОЗовского скакуна.

Беглецов настигли в ночном лесу. Скакун резко заржал и встал на дыбы, ткнувшись в Фёдорову телегу. Матрёна вскрикнула и в чашу. Агаркова мужики стащили с телеги, свалили в грязь и принялись пинать, матерясь, толкаясь и мешая друг другу.

Когда замешательство прошло, Фёдор сумел подняться, привалился спиной к берёзе и некоторое время терпел град ударов, прикрывая руками голову. А потом изловчился и стукнул одного, стукнул другого, и пошла кутерьма. Сильный и злой, он бил нападавших наотмашь, и те кубарем летели прочь, не сразу вставали и уже без прежнего энтузиазма подступали вновь.

– Ножом его надо, ножом, – рычал Демьян. – У кого нож?

– Обронил я его, – гнусил Дергалёв.

Фёдор зацепился за эту мысль.

– Всё, мужики, сейчас я вас буду резать, – сказал он не громко, но твёрдо.

Соломатовцы дружно попятились. Кто-то прыгнул в ходок, попытался развернуть скакуна на узкой дороге.

На Фёдора нашёл кураж:

– И лошадь зарублю и тарантас сломаю.

Скакун будто от слов его заржал дико, дёрнулся, затрещали оглобли. Ходок ударился о пенёк колесом, оно подломилось, ходок перевернулся. Скакун, оборвав постромки, умчался в ночь. Следом соломатовские мужики дружно зачавкали чуть прихваченной ночным морозцем дорожной грязью.

Когда стихли их топот и голоса, Фёдор разжал онемевшие кулаки, попытался успокоиться. Болели битые рёбра, пылала щека под глазом, больших увечий он не ощутил.

– Матрёна, – позвал тихо.

И из темноты совсем рядом:

– Я здесь, коханий. ...

Чёртово колесо

*Так жизнь скучна, когда боренья нет.
(М. Лермонтов)*

Вторую неделю колесил по увельским весям уполномоченный Челябинского облземотдела по делам коллективизации Иван Артемьевич Назаров. Выступал перед казаками, крестьянами, агитировал за колхозы. В помощники Увельский райком партии определил ему бывшего председателя Соколовской казачьей коммуны Константина Алексеевича Богатырёва, человека в районе известного ещё со времён Гражданской войны и особо уважаемого в станицах.

Ездили избитыми просёлками, ночевали в чужих избах, но никак не удосужились поговорить по душам. А порасспросить Богатырёва у Ивана Артемьевича было о чём, да только не было повода: слишком суров на вид казался «отставной козы барабанщик Богатырёв» – как он сам представился при знакомстве.

И вот, наконец, по дороге в станицу Кичигинскую признался Назаров:

– Где-то в этих местах в восемнадцатом году без вести сгинул мой душевный друг Андрей Фёдоров. Пошёл в Кичигинскую станицу с продотрядом и пропал по дороге. Не слышал?

– В восемнадцатом? – переспросил Богатырёв. – Нет, не слышал. Должно быть, Семёна Лагутина рук дело. Он тут один из первых против Советской власти пошёл и дрался до конца. Как говорится, до последнего патрона. Когда поймали – покаяться хотел, говорил: в монастырь уйду, если простите, грехи замаливать. Да где там – столько крови на руках. В Троицке, в чека и расстреляли. Перед смертью-то он словоохотлив был. Вот его бы расспросить, может, что и поведал.

– Да-а, мёртвого не спросишь. А что, может и правда получился бы из него поп-праведник или послушник какой. Глядишь – и святой, помрёт – народ мощам молиться станет. Бывает и так жизнь поворачивает. Иные элементы раньше насмерть бились с Советской властью, а теперь вдруг стали её активистами. Иного тряхни в НКВД, а у него за душой и эсеровщина, и колчаковщина, и чёрт знает ещё что.

– Меня вон тоже трясли, – уныло сказал Богатырёв. – В бандитские потатчики записали, коммуны пропил... Спасибо, Василий Константинович спас от стенки да позора.

– Блюхер?!

– Он. А кабы не он, где бы я сейчас был?

Собеседники умолкли, думая каждый о своём, и долго на лесной дороге слышны были лишь топот копыт да скрип тележный.

Назаров не верил в фатальность судьбы, но сейчас, глядя на бородатое лицо Константина Богатырёва, готов был поверить. Те же места, быть может, та же дорога, и вот такие бородачи напали из засады и порубали продотрядцев Фёдорова, и концы упрятали в воду. Подумалось ненароком – а может и Богатырёв к тому делу причастен и вот-вот сделает признание. Ох, как бы не роковое для него, Ивана Артемьевича Назарова.

День венчался к полудню. Стояла невыносимая, удушливая жара. Вроде бы чистое и в то же время хмурое небо повисло над головой – как всегда бывает в густом лесу или в преддверье дождя. Издали донёсся громовой раскат.

Богатырёв подстегнул вожжами лошадь:

– Успеть бы до грозы, станица-то совсем уж рядом...

Гроза надвигалась стремительно. Вековой бор утробно шумел под напором ветра. В местах, где сосны подступали вплотную к дороге, длинные колючие ветви угрожающе раскачивались сверхом вниз, норовя хлестнуть по глазам.

Но вот они расступились, открылась станица на крутом берегу реки. Стало видно, что небо туго забито лиловыми тучами. Ветер стих, но было ясно, что грозы не миновать. На широкой улице – ни души, молчат собаки, молчат петухи.

– Тихо как, – подивился Назаров.

Иван Артемьевич уже подметил, что казаки внешне очень похожи друг на друга. Вот и Кичигинский председатель Совета Парфёнов казался родным братом Богатырёву. Встретил он их без особого энтузиазма. Долго и настороженно разглядывал предъявленные документы, вчитываясь в каждое слово.

– Ты, товарищ Парфёнов, никак нас за шпионов принял, – пошутил Назаров. – Откуда такая подозрительность? Были попытки?

– Ты мне подал бумаги, я их посмотрел, что тут такого? – угрюмо сказал председатель, возвращая документы.

– Поди, энкавэдэшников не так встречаешь, председатель? Они молчунов не жалуют.

Назаров и сам не понял, что он сейчас сказал – шутку или скрытую угрозу, намёк, так сказать, на возможные последствия.

Парфёнов молвил после паузы:

– У нас, казаков, говорят – лучшее слово то, которое не сказал.

Неловкое молчание прервал Богатырёв, кивнув на окно, за которым бушевала гроза:

– Должно надолго.

– Ветер сильный, – не согласился Парфёнов, – скоро разведётся.

Однако стихия ярилась всё сильнее и лиходейничала до самых потёмков.

Чуть дождь поутих, Парфёнов пригласил:

– Идёмте до дому, бабка повечерять нам соберёт.

– Ты, председатель, не суетись, – остановил его Богатырёв. – Полчанин мой тут у вас живёт – Фомка Михайленков. Жив ли?

– Жив. Чего ему... – не стал отговаривать Парфёнов. – Идем, провожу.

– Командир?! – низенького роста мужичок, скорее постаревший подросток, полуприсел в изумлении, широко раскинув руки. – Константин Алексеич! Глазам своим не верю. Сто лет, сто зим, так-растак...

Кинулся обниматься.

– Ну-ну, – Богатырёв как подростка погладил казачка по голове. – Будя. Ты ещё прослезились. Живы, встретились и хорошо.

– А хрена ли нам делается? Я так мекаю: такую заваруху пересилили, тыщу раз на волосок от неё, безносой, теперь сто лет жить будем – заслужили.

– Ну, это, брат, ты лишка хватил. Впрочем, не плохо бы...

После ужина и долгих разговоров гостеприимный хозяин определил гостей в чистенькую малуху с двумя кроватями, будто для них предназначенную.

На следующее утро Назаров чуть свет пропал куда-то и появился не скоро. Богатырёв ушёл от накрытого стола, курил на свежесрубленном крыльце, поджидая уполномоченного.

– Где это ты, Иван Артемьевич, блукаешь? – удивился он.

– На кладбище ходил, – сообщил Назаров. – Так и думал, первым делом на погост схожу. Может там найдётся затерянный след Андрея Фёдорова. Не нашёл.

Присел рядом, устало, отряхивая с брюк прилипшее репье.

– Я б не догадался, – признался Богатырёв.

– Могила – последний след человека на земле. Иногда – единственный. А места, Константин, прямо скажу, глухие. Лес под самые окна, на станицу напирает. В бору между соснами всё заросло кустами – не продерёшься. Гиблые места.

– Должно, привыкли, – окинул взглядом окрестности Богатырёв.

Разгорался летний день. Бежал ветерок, шумела листва тополей, которые сбились в станицу, будто изгнанные дремучим бором. Забылась вчерашняя гроза, и следы её таяли под лучами солнца.

– Пойдём за стол, Уж всё остыло. Хозяйка-то когда накрывала....

За завтраком Назаров рассказывал:

– Представляете, на кладбище старуху встретил – разговорились. Сколько лет не помнит, а живая такая, подвижная, и с головой дружит – речи все разумные, с хитрецей

– Э-э, так это, должно быть, Рысиха, – вклинился в разговор хозяин, – ворожея местная да знахарка. Её казаки то утопить грозятся, то не намолят. Девкам гадают, присухи делает, ну и лечит, конечно.

– Во-во, травки она там разные собирает. Говорит, на погосте самые целебные.

Разговорились, я ей лукошко до хаты донёс. Живёт убого: пол грязный, занавесок нет, тараканы тут и там, половина – дохлые. Говорит, за доброту твою, настойку дам – от всех хворей и напастей заговоренную. И ковш суёт, тоже не первой свежести. Ну, я и отказался – побрезговал, а хозяйке говорю, не верю, мол, и не нуждаюсь. Спрашиваю: давно живёшь, по лесу одна гуляешь, с нечистой силой общаешься – может, слыхала: в восемнадцатом году тут отряд рабочих пропал? Говорит, слыхать не слыхала, но, если карты раскинет, то всю правду расскажет, о чём не спрошу.

– А ты? – встрепенулся Богатырёв.

– Да ну её. Что же мне, коммунисту, ворожеям верить? Ты смеёшься?

– Да нет, какой смех. А про бабку эту слыхал – далеко о ней молва идёт.

– А-а, – небрежно махнул рукой маленький хозяин, – Брехня всё. Давайте лучше выпьем. Парфёнова видал, говорит, передай – сход после табуна будет. Скотину встреним и на собранию.

Со схода Иван Артемьевич пришёл сам не свой. Сел в малухе у окна, сидит, переживает. Не поняли его казаки, а он их. Что за колхозы, что за труд вкладчину? Лица хмурые, почти враждебные. Чувствуется общий отрицательный настрой. Видно, кто-то уже поработал промеж них – наверняка, была враждебная агитация. Ну, дождётся этот председатель, Парфёнов. Назаров ему такую характеристику в райкоме даст, что загремит в НКВД без промедления.

Небо за окном теряло краски, сумерки подступали из бора. Две молодухи, покачивая крутыми бёдрами, прошли с коромыслами за водой.

Богатырёв чистил сапоги, громко пыхтел, наклонённое лицо его запунцевело. Поймав искоса брошенный взгляд Назарова, позвал:

– Пойдём, Иван Артемич, пройдемся перед сном. Чего букой сидишь?

– Иди, пройдишь, – буркнул Назаров, и Константин не стал упрашивать.

На пологом берегу Увельки под раскидистыми ветлами тополей врытые в землю стояли лавки и даже стол для картёжников.

– Гостю место! – крикнул гармонист, и девчата снялись с лавок, хороводом обступили подходящего Богатырёва, под разудалый наигрыш пропели широко известные в районе частушки, припевом для которых был:

– Костя Богатырёночек – мой басенький милёночек.

Им и дела нет, что «милёночек» давно уже дед – у него две замужние дочери. Его подхватили под руки и усадили на лавку подле одной девушки, не принимавшей участия в общем веселье. Припевали:

– Я люблю, конечно, всех, но Любашу, больше всех!

Та застыдилась, закрыла лицо руками, сорвалась вдруг с лавки и, круто изгибаясь стройным станом, побежала берегом. На спине змеёй заметалась тяжёлая коса. Девчата, гомоня, кинулись её догонять и вскоре привели назад, тихую, покорную.

– А кто же... это самое... Любашку напугал? – крикнул гармонист и лихо растянул меха.

Девчата хором:

– Костя Богатырёночек – мой басенький милёночек!

Богатырёв сидел, посмеиваясь, искоса поглядывая на привлекательную девушку. Герой Гражданской войны Константин Богатырёв был кумиром районной молодёжи и сам любил молодёжь, их песни и гулянья.

Солнце давно уже скрылось за тёмным бором. С реки через прибрежные кусты тальника просочился на луга туман, сгустился в низинах, оставляя открытыми лобные места. Такая же лёгкая и тягучая, чуть грустная, но красивая плыла над округой девичья песня, звало милого на свидание истомившееся сердце. И от станицы по одному, по двое подходили парни, молча присаживались заворожённые.

То были самые трогательные и торжественные минуты, до беспамятства пленявшие Богатырёва. Видя вокруг задумчивые, немного грустные, но счастливые лица Константин Алексеевич сам млел от сознания того, что именно он, его труды, кровь его погибших товарищей дали это счастье молодым.

Песни кончились. Молодым охота поиграться, а старикам пора на покой.

– Не уходите, – в самое ухо протёк горячий шёпот. – Мне надо с вами поговорить.

Богатырёв склонил голову:

– Что тебе, Любушка-голубушка?

На шею у неё бусы в виде сцепленных лепестков. Внезапно Константин будто почувствовал аромат этих цветов, и прихлынули воспоминания.

Роса искрилась на листьях и цветах, пускала живые острые лучи в глаза. По пояс в сырой траве он шёл к ней навстречу и так вымок, что штанины прилипли к ногам.

– И я вымокла, не бойся! – говорила Наталья, юная, красивая, маня его к себе. К щеке её пристал голубой лепесток, а на губах сверкали капельки росы.

Когда это было? В какой жизни?

Издалека прорвался голос Любаши:

– ... но я теперь никому не верю. Парни в любви клянутся, а в мыслях лишь одно...

... – ...потом обсохнем, иди сюда, – звала юная Наталья.

И он, кажется, впервые тогда увидел её тело в первозданной красоте – разглядел синие прожилки на грудях и животе, ямочки на бёдрах и коленях.

– Плевать, что сыро, зато хорошо. Тебе хорошо? – она легла на спину, повлекла его за собой.

– Ты любишь меня? Ты не боишься меня? – шептал он, задыхаясь.

– Проводи меня, Любаша, до околицы.

Глаза у неё печальные, доверчивые. Видать, пролетела девка. Глядишь, и ему обломится надкусанного пирога.

Устыдившись своих мыслей, Богатырёв отвернулся. Но у околицы обнял её и притянул к себе.

– Зачем? – Любаша подняла на него испуганный взгляд. – Разве без этого нельзя?

– Нет, – прозвучал его приговор.

Константин шёл ночной улицей. В уставшем теле плескалась нерастраченная нежность, а мысли уж летели к Наталье – как она там одна, без него. Наверное, внучат тетёшкает бабушка Наташа. Его Таля! Эх, как быстро жизнь прошла, будто и не было. Война, заботы – не налюбились они с Наташкой, счастливых дней по пальцам можно перечесать.

Вдруг навстречу из проулка, гулко гремя на рытвинах, выкатилось старое выщербленное тележное колесо в металлических шорах.

Что за чертовщина? Кто балует?

Константин увернулся от колеса, замедлил шаг, вглядываясь в темноту:

– Никак трёпки захотели?

Он был уверен – парни балуют.

Никто не ответил, ничто не шелохнулось в темноте проулка. Только сзади, нарастая, послышался стук колеса. Будто заново пущенное, оно катилось прямо на него.

Константин отпрянул в сторону, и колесо, вертанувшись, снова покатило к его ногам. Вот тут-то и приключился с Константином Богатырёвым неведомый прежде страх – голова налилась холодом, а волосы встали дыбом. И он пустился в позорное бегство.

Ноги едва касались земли – так быстро он летел, рискуя сломить голову в какой-нибудь рытвине. Земля была усыпана засохшими тополиными почками, и они громко хрустели на пустынной улице, но ещё громче, до громового раската грохотало, настигая, проклятое колесо.

Вот и дом Михайленкова с высокими воротами. Богатырёв, распластавшись по земле, нырнул в подворотню, пересёк двор, вбежал на крыльцо, забарабанил в дверь:

– Фомка, открой! Слышишь, открой скорее....

Страшный грохот потряс ворота. Богатырёв беспомощно оглянулся: ещё один такой удар – и от новых ворот щепки полетят. И этот удар не заставил себя ждать – сорвавшись с петель и запора, упала калитка. Чёртово колесо победно крутанулось на ней, будто высматривая Константина, и покатило к крыльцу.

Богатырёв вдруг почувствовал, как подгибаются, становятся чужими, непослушными ноги. Он завалился на спину. Под могучей рукой жалобно хрустнули свежерубленные перила и упали ему на грудь.

Из малухи выскочил Назаров в нижнем белье, как приведение в ночи, и побежал к Богатырёву на выручку, стреляя из нагана в чёрный проём ворот. Одна из пуль цвиркнула по колесу, выбив искру из стального обода, другая расщепила спицу. Крутанувшись брошенной монеткой, колесо выкатилось со двора. Но Назаров этого не видел. Склонившись над Богатырёвым, он тщетно пытался поднять, ставшее беспомощным и свинцовым, могучее тело.

– Костя, что с тобой? Ты ранен?

– Ты видел? Видел? – бормотал тот. – Помоги подняться. Нет, чёрт, не могу.

Назаров забарабанил в дверь:

– Эй, хозяин, открой!

– Кто стрелял? – раздался голос казачка из-за двери.

– Я стрелял. В кого стрелял, того уж нет. Да открой ты, чугунная голова.

Дверь чуть приоткрылась. Косой клин света упал на крыльцо, осветил Богатырёву плечо. Вслед за керосиновой лампой в дрожащей руке показалась испуганная физиономия Михайленкова.

– Командир, ты ранен или назюзюкался так? Эх ты ёлки-намоталки, да ты ж мне всё крыльцо порушил, так-растак....

– Помогите мне подняться, – прохрипел Богатырёв, – Что-то ноги не слушают.

Но перетащить его в малуху удалось лишь, когда собрались разбуженные выстрелами соседи.

На следующее утро они уезжали из станицы. Теперь Назаров уселся возницей, а Богатырёва уложили в телегу. Выглядел он хмурый и беспомощным. Молчал и шевелил губами, будто разговаривая сам с собой.

Собрались станичные – прощались с Богатырёвым, сочувственно вздыхая. На Назарова никто не обращал внимания, и Иван Артемьевич отлучился незамеченный.

Потом, в пути, развлекая товарища разговорами, сообщил:

– А знаешь, я перед отъездом всё-таки заскочил к той бабке, ворожее. Чем чёрт не шутит, вдруг что и скажет про судьбу Андрея. Да только не до гаданий ей теперь. Сидит, стонет, как воеет, руку белой тряпкой замотала. Говорит, собаки покусали. Да где там, собаки, мне сдаётся, ранение у неё пулевое – кровь сквозь тряпицу так и сочится.

– Это она мне за Лагутина мстит, ведьма чёртова, – уныло покачал головой Богатырёв.
Но Иван Артемьевич его не понял.

Уполномоченный

*Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
(В. Гёте)*

Низенький и тощий уполномоченный Увельского райкома партии Андрей Яковлевич Масленников колюче смотрел на хуторян и улыбался, уже и уже растягивая губы. Всё в нём было заострено: плечи, локти, колени, тонкие пальцы с крепкими чистыми ногтями треугольной формы, на лбу высокие залысины – отчего и голова казалась большой луковкой.

Поднялась Матрёна Агаркова – высокая, осанистая, красивая, как с картинки:

– Да что вы спятили? Да кто ж захочет от своего хозяйства? Какая к бису коллективизация?

– Цыц, баба, наперёд мужики скажут, – повернулось к ней каменистое, прокалённое как кирпич, лицо Авдея Кутепова, безжалостные глаза сверкнули холодной голубой лазурью.

Матрёна смерила его презрительным взглядом:

– Чего ты сыскаешь – сходи, коль не терпится, а то обгадишься. И что уставился на меня, как старый козёл на раakitник?

Собравшиеся развеселились. Однако, ненадолго – общее настроение в толпе было сумрачное. Да и сама лужайка как-то поблекла – то ли от табачного дыма, то ли от вечерней сырости, то ли от комаров, тучей роившихся над головами. Отлетел куда-то в сторону свежий осенний воздух, яркий от синего неба, звонкий от птичьих голосов, ароматный от близких садов. На собрание стеклись всем хутором – и старые, и малые – сидели на траве, на принесённых лавках, взвинченные и умиротворённые, растерянные и сонные, лузгали семечки, с любопытством поглядывали на приезжего.

Неподалёку огрузший птицами лес кряхтел и вздыхал, как кряхтит и вздыхает покорный дед. Птицы же галдели живо и требовательно, как его внуки, приехавшие погостить. Это был шум природы, готовящейся к долгому зимнему сну. Знакомая с детства, всегда повторяющаяся картина лёгкой грустью трогало сердце Агаркова Фёдора, и делала его счастливым. Он желал птицам доброго пути и скорого возвращения домой.

– Вам что, товарищ, не интересно? Или вы уже всё решили для себя? Тогда скажите всем, – острый и настороженный взгляд уполномоченного колючкой прицепился.

Фёдор с неохотой оторвался от лесного очарования, взглянул на уполномоченного равнодушно, но твёрдо:

– С теми, кто руку не поднимет, что будет?

– Зря вы так: колхоз – дело добровольное.

– Добровольно – принудительное....

Масленников вздохнул, зябко пошевелил плечами, словно закутывался в исходящий с неба вечерний свет, подышал на вдруг застывшие пальцы:

– Кто ещё так думает?

Долго ждал, склонив на бок голову, потом разогнул затёкшую шею, положил руки на стол и укоризненно взглянул на Фёдора. Заскрипел старческим тенорком Яков Иванович Малютин, по-уличному – Дуля:

– В складчину оно мне, кажется, веселей. Как говорится, и батьку отлупить можно. Да только так ли будет, как вы тут наговорили, мил человек. Вы уедите, мы – останемся. С чем?

Синий засаленный пиджак сидел на нём мешком, латаные суконные брюки были в пыли и на ногах старые нечищенные сапоги. По всему видать – запущенный, необхоженный дедок. Снохам или дочерям не люб, подумал Масленников, а вслух сказал:

– Правильно ты говоришь, дед. И не сомневайся – партией твёрдо взят курс на массовую коллективизацию сельского хозяйства. Не вы одни, вся страна организуется в колхозы – иначе не прожить.

Мужики закричали, закивали согласно головами:

– Конечно, если трахтур вместо лошадёнки, то оно конечно... И клинья наши зачем?

Андрей Яковлевич безошибочно угадал настроение людей – сейчас они поспорят меж собой, поторгуются с ним и проголосуют «за» в большинстве своём – и победно взглянул на Фёдора. Тот, пожимая плечами, отвечал что-то сидевшей рядом женщине, так поразившей Масленникова своей недеревенской красотой.

С ближайшего подворья послышалась грустная негромкая песня: красивый голос выводил девичьи страдания – заслушаешься.

«Нашла время», – недовольно подумал Масленников, но с удовольствием отвлёкся от общего гомона: дело было сделано, остались частности.

Между тем, на лужайке как бы сам собой, но, конечно, более для приезжего шёл неспешный разговор.

– Кричи, не кричи, а землю отдай.

– А много ль здесь потомственных-то? Большинство – целинники. Так что – власть дала, власть и взяла...

– А в колхозе как оно будет? Поглядим.

– Здесь житья не дадут, я, мужики на море подамся, на юг. Там, говорят, тепло круглый год, виноград и фрукты разные.

– Везде работать надо, – вклинился Масленников. – Труд, учит Маркс, из обезьян нас людьми сделал. А человек разумный машины создал, чтобы больше производить хлеба и товаров, чтобы богаче жить, чтобы детей растить сытыми и грамотными. Вы поймите, мужики, ну, нет у нас другого пути. То, что пушки не грохочут, это не значит, что война закончилась. Идёт она, проклятая, ежечасно, ежеминутно. Не смог нас мировой капитал силой сломить – зубы обломал, так хотят теперь буржуи задушить нашу свободную республику экономической блокадой. Не дают они нам ни хлеба, ни металла, ни машин. И не дадут – поперёк горла мы им. А значит, всё это мы должны создавать своими руками. И времени на раскачку нет у нас совсем – хлеб стране нужен сегодня. А что вы можете дать на своих клинышках со своими клячами? Хрен да маленько – вот что! Короче, кто не с нами, тот – враг, потатчик мирового капитала, с такими разговор будет особый.

Все вдруг разом обернулись на Ивана Духонина, собравшегося на юга.

– А я чё? Я о детишках своих радею? Я как все.

– Ишь ты, радетель, – усмехнулся уполномоченный, и все засмеялись.

Зацокал языком Авдей Кутепов, закачал головой:

– Такого клоуна и в нашу коммуну? Его ж в работники никто не возьмёт. На что он нам?

Борис Извеков поднялся. Лицо спокойное, взгляд разумный, внимательный. Его имя упоминалось на инструктаже в райкоме партии. Масленников с одобрением кивнул.

– Интересно, кого же ты, Авдей, кроме себя в колхозе видишь?

– Вот – вот, – обрадовался поддержке Духонин. – Сам-то давно хозяином себя возомнил? Твои ж тараканы ко мне на постой с голоду просятся.

Снова смех.

Кутепов небрежно отмахнулся рукой:

– Вот так и соберёмся – убогий телом да хромой на голову, такое ж руководство изберём, так и работать будем.

И его реплику поддержали смешками. А Извеков, будто от пощёчины отшатнулся, побледнел лицом и сел, ничего более не сказав.

Эге, подумал Масленников, да тут не все ясно с руководством, а страсти чисто парламентские. С выборами стоит погодить, приглядеться. Как бы не провалить дело.

И будто по его сигналу какой-то парень крикнул:

– Солнце скрылося за ели, время спать, а мы не ели.

– Верно, мужики, чего воду толочь, – поднялся Масленников со своего места, – Давайте решать по главному вопросу. Будем в колхоз объединяться? Кто «за» – поднимите руки.

– Будем! Будем! Голосуем!

– На машинах пахать – не на пердячей тяге...

– Ты чего, дед, руку прячешь? Тяни.

– Подумать надо.

– Думай, а для какого хрена голову наращивал.

Чувствуя конец собрания, все зашевелились, повеселели.

Колхоз назвали именем героя Гражданской войны Семёна Михайловича Буденного.

Ночевать Андрей Масленников напросился к Извековым.

– Наш ты мужик, Борис. И в райкоме помнят твои заслуги, к тому же грамотный, партийный. Быть тебе председателем колхоза.

– Нет, Андрей Яковлевич, не поддержат меня мужики. Я для них – человек пришлый, хозяин неважный. А к власти тут не мало охочих найдутся.

– Мы рекомендуем – поддержат.

– Тут подумать надо крепко: меня прокатят – я переживу, вашу рекомендацию похерят – гораздо серьезнее.

– Ты прав – давай думать.

Сидели на крыльце после ужина, курили. Воздух пах зрелыми яблоками, навозом, осенним лиственным лесом. Где-то драчливо промычал бычок, чертыхнулся охрипший женский голос, хлопнула дверь – наверное, загоняли телка пинками в стайку.

– Своё – берегут, – сказал Извеков.

– Правильно берегут, и колхозное будут беречь.

– Сознание людей – это то, что труднее всего поддаётся переделки. Можно межи распхать, скот в одну стайку загнать, но убедить людей, что всё это имущество по-прежнему их, только в общем пользовании, будет не просто.

– Согласен, но для того мы с тобой и кончали университеты, для того и в партию вступили, чтобы увлечь народ, разъяснить, указать правильный путь. А тебе надо подниматься: ну и что, что искалечен – за народное же дело. Это надо понимать. Я вот поживу у вас денька два-три, порасспрашиваю мужиков, как они насчёт твоего председательства, надавлю немножко. Вообще – поработаю. Ну, не можем мы, дорогой товарищ Извеков, такое дело на самотёк пускать. Не тому нас учит ЦеКа.

Холодок утра был влажным. Туман, ощутимо липкий у земли, поднимаясь, редел и расслаивался. Прогнали стадо. Из-за леса вынырнул медно-красный диск солнца, разбудил ветерок. Туман, цепляясь за лошины, потянулся прочь.

Десятка полтора хуторских мужиков вместе с уполномоченным вышли в поле обмерять колхозную землю. С холма в белом свечении неба открывалась широкая пашня. Тут и там приятно зеленела озимь. Мужики курили, кашляли и нещадно плевались. Иван Духонин успел уже потрудиться – локти и колени его одежды были испачканы жирной огородной землёй. Наверное, зерно прятал, с неприязнью подумал о нём Масленников.

К обеду намерили три тысячи двести десятин.

– Ну вот, товарищи буденовцы, владейте, лелейте, богатеите. Садитесь-ка теперь за столы да пишите заявления в колхоз, чтобы честь по чести, всё по закону. Кто неграмотный – к Борису Извекову.

Авдей Кутепов, угадав минуту, завлѣк уполномоченного к себе на гусятину. На похмурневшую жену тайком прищипнул:

– Ты, кашу-то мешая, мозгой пошевеливай.

Украсил стол бутылкою и четырьмя стаканами. Разорвал лоснящегося гуся на добрые куски, уложил их в стеклянную узорчатую вазу, принесѣнную женой.

Подошѣл принаряженный Дмитрий Малютин, пропел с порога, завидев бутылку:

– Милый пей вино, как воду, только хум не пропивай,

Люби басеньких, хорошеньких – меня не забывай.

Авдей беспокойно хихикнул:

– Нечто ещё девками интересуешься?

– Зря смеѣшься. Я девок завсегда любить буду. Любую заговорю. И товарищу приезжму – как вас по батюшке, не упомяну – любую кралою присватаю. Девки и вино нужны, чтобы печаль снять.

Дмитрий поднял голову к низкому потолку. Лицо его преобразилось, словно бы потолка того не было, только даль небесная над всей землѣй.

– За Россию! – сказал он строго и торжественно, – за колхоз наш! Хай процветают!

Масленников встал вместе с мужиками, выпил водку одним махом и стиснул пустой стакан до побеления суставов.

Закусив грибом и хлебом, Кутепов сказал:

– Да-а, девки у нас красивые. Хоть бабу мою взять. Ты, Митька, помнишь, как козлом вокруг неё скакал? Ой, помнишь, поди? Молодая-то она видная была...

Разговор их казался Андрею несуразным и по обстоятельствам, как бы несерьѣзным. Тѣмные они, думал он, инстинктами живут. Но то, что на хуторе они коноводят, ещё вчера подметил. И ещё тот, кто колхоз обяжаловкой назвал, у кого жена такая писанка.

Масленников хмыкнул сам себе – вот ведь как тема бабская прилипчивая.

Хозяин выставил на стол новую поллитровку. Обняв за плечи своего приятеля, пропел:

– А нам бы подали, а мы бы выпили...

От его скрипучего пения, пьяного вида, водочного тепла и жирной гусятини Андрею захотелось спать.

– Чѣрт, устал, засыпаю, – сказал он и засмеялся.

Дмитрий Малютин, ставший тоже хмельным, посмотрел на него затуманенным взором:

– Ты погоди чертыхаться. Святая вода ещё не кончилась, а потом мы на Гулянку пойдѣм.

С тобой одна крала хочет познакомиться...

– Красивая девка, – подтвердил Авдей.

– Не то слово, – Малютин колыхнулся, как табачный дым от внезапного сквозняка, и, ткнув пальцем в пустой стакан, приказал, – налей.

– Мы ведь всё понимаем, – продолжал он, – тракторы, машины какие, вчерась ты говорил, всё же через вас... Мы уважим – нас уважат. Вперѣд надо смотреть, в перстиктиву. Верно?

– Это ещё не скоро, – грустно сказал Авдей. – Сначала артель надо сколотить, чтобы без протиречи... речитивых... ретивых... Тьфу, чѣрт! Ну, чтоб врагов не было, элементов разных. Верно?

– С большим удовольствием за это выпью, – поднял Масленников стакан, ощущая себя самым трезвым в компании.

– Здравствуйте, – негромкий девичий голос заставил замереть поднятые стаканы. В проѣме дверей стояло нечто стройное, красивое, улыбающееся. – Кому из вас следует показать хуторскую Гулянку? Вы все уже пьяны и опять налили.

– Ишь, ворчит, – кивнул на неё Малютин. – Ещё не взнудала, а уж норовит охомутать.

– Ты, Александра, не ври, – Авдей поднялся, выпрямился и слегка качнулся на ногах. – Нет здесь пьяных, крепкие мы мужики.

Малютин в два глотка опорожнил стакан, хлопнул его на стол, легко скользнул к двери, подхватил Саньку Агаркову на руки, притиснул к груди, проблеял нежно:

– Любушка-голубушка, расцвела красавицей, а соображений на грош. . . .

Санька взвизгнула и тут же притихла. Он, наверное, стиснул её так, что она хрустнула вся и обмякла. Дмитрий поставил её на ноги, поцеловал в шелковистую светлую маковку, потом поддал ей легонько коленом под зад, чтобы вновь оживилась. Девушка оправила нарядное платье, тряхнула косой.

– Так что садись с нами и не кукуй, – сказал Авдей. – Выпей. Мы за вас, девок наших да баб пьём, краше которых нет во всей России-матушке.

– Про девок ничего не скажу – согласна. А вот мужики умом ослабли. Колхоз какой-то удумали. Чтобы бабами сообща владеть что ли?

Масленников дёрнулся, будто от пощёчины. Малютин крякнул, хлопнув себя по мощным ляжкам. Авдей вскочил из-за стола:

– Ты, Санька, язви тебя, за языком следи. А лучше помалкивай, раз бог ума не дал. На-ка, выпей с нами. . . .

Налил и подвинул гостье стакан. Она скромно прошла и присела за край стола напротив приезжего. Андрей заметил, что икры у девушки плавные, невыпирающие, колени закруглённые, оглаженные, щиколотки изящные, тонкие. Не было её на собрании. Вспомнил – наверное, певунья вчерашняя.

– Мудрецы плешивые, – со вздохом сказала она, беря стакан в руку.

И опять уполномоченный в её словах услышал намёк на высокий свой лоб с залысинами. Он уже стал побаиваться этой языкастой хуторской девахи. Но, чёрт, как красива! Насупился и надолго отстранился от застолья.

– Дядь Мить, спой, пожалуйста, – попросила Санька.

– Что тебе спеть, душа-красавица? Хочешь про любовь нескончаемую?

– Спойте, – закивала головой, но, взглянув на приезжего, вспыхнула вдруг, неловко толкнула стакан и ойкнула. Андрей стакан удержал, не дал ему упасть. Недопитая Санькой водка всё же выплеснулась и залила им обоим пальцы.

– Любовь, да ещё нескончаемая, – хохотнула она, доставая вышитый платочек. – Кому она нужна?

– Не скажи. Любовь нужду затмевает. – Дмитрий облокотился о стол, подперев кулаком щёку, открыл щербатый рот и запел удивительно чистым и приятным баритоном.

Масленников, слушая, откинулся на спинку стула и под столом рядом со своим увидел гладкое, как шёлк-атлас, розовое колено, и уже не в силах был оторвать заворожённого взгляда.

Зашевелились занавески в горницу. Не прерывая пения, Дмитрий поднялся и прошёл туда, скрывшись, допел до конца. Когда голос его смолк, послышались восторженные восклицания хозяйки, звук отчаянного поцелуя и деловитый треск пощёчины, будто вяленую рыбу разорвали пополам.

– Эй, вы, там, – всполошился Авдей и тоже скрылся.

Санька посмотрела приезжему в глаза и поднялась.

– Я провожу, – засуетился Масленников.

Сразу за околицей начинался лес. Санька подняла Андрееву руку, прижала к сердцу, от такого движения её левая грудь приподнялась, округлилась туго:

– Тут у меня ноет. И не знала, что у меня сердце есть, и не думала. Мама говорила, заноеет – тогда узнаешь, и места себе не найдёшь в беспокойстве, придёт время. Тебя как зовут-то? Все на «вы» да на «вы», а ты ведь молодой, только лысый немного. Чего молчишь? Имя-то у тебя есть?

– Андрей, Андреем меня зовут. – Масленников тщетно отводил глаза от Санькиной груди. Сердце её билось под его ладонью сильно и требовательно. Уполномоченный моргал, а его взгляд тайком шмыгал в вырез платья.

– Если бы вы, мужики, могли понимать хоть вот столечко... – Санька вздохнула, выпустила его руку. – Или хоть бы догадывались, о чём девушки мечтают.

Андреева рука скользнула вниз по её упругому боку, но тут же поднялась, чтобы самостоятельно обхватить девушку за талию, притиснуть грудь в грудь.

Санька сделала полшага в сторону и даже не заметила, что увернулась. Наверное, есть у женщин такой внутренний рефлекс, когда душу жжёт одно желание, а тело играет свою игру.

В этот момент Масленников будто увидел себя со стороны: рядом со стройной девушкой – низенький, тощий, сутулый. Боже, какой хорёк, мелькнула отрезвляющая мысль. Только случай сослепу или впотьмах мог свести их вместе.

Он перевёл дыхание, воздух спасительно вошёл в лёгкие. Вытер о пиджак мокрые ладони, рванулся целоваться, но споткнулся и сконфузился.

– Я поцеловать тебя хотел.

– И больше уже не хочешь? – засмеялась Санька и легко увернулась от его рук.

Платье на ней жило как бы само по себе, со своими складочками, выточками и цветочками, но с одной только целью – сделать девичью красоту ещё более нестерпимой.

– Слышь, давай рядом посидим, тяжело мне на тебя сзади смотреть. – Андрей чувствовал, что если не заговорит, если не отвлечёт себя от разбушевавшегося желания – бросится на девушку и наделает непоправимых глупостей. – Это ведь случай, что я попал на ваш хутор, а не в какую другую деревню... Никогда бы не узнал тебя, не выпала б мне встреча с тобой... – А ты меня и не узнал ещё...

Масленников зажмурился от такого, как ему показалось, откровенного намёка, головой потряс и кулаком себя по лбу ударил, выбивая остатки хмеля.

Остановил Саньку за локоть:

– Посидим, а?

– Где посидим? – спросила она ласково.

– Да хоть вот здесь.

– А зачем здесь сидеть, скоро гулянка начнётся? – девушка заглянула ему в глаза.

Андрея снова бросило в жар, вмиг вспотели ладони. Его руки рванулись её обнять, а ноги против воли подогнулись, и он бухнулся на колени, уткнувшись носом в подол.

Санька положила на угловатый затылок тёплые ладони и прижала его голову к своим ногам. Его руки шмыгнули под подол платья. Кожа девичья нежная, страшно поцарапать. Из глаз Масленникова потекли слёзы умиления, не замечаемые им, как дыхание, освобождая его душу от недоумения, растерянности, страха и стыда.

Санькины ласковые пальцы приподняли его голову, её губы коснулись лба, глаз, щёк, добрались до его губ. Масленников чувствовал в её ласках какое-то настойчивое указание для себя, но понять никак не мог – в маленькой плешивой голове ликовала любовь, сотрясая всё тело....

– Ну что? – спросила она, отстраняясь. – Пойдём?

Сбитый с толку, сморенный, растревоженный и влюблённый, он разволновался от нестерпимой потребности говорить, но молчал и смотрел на неё по-собачьи виновато.

– Чего ты? – спросила Санька едва слышно.

На полянке у околицы уж собралась молодёжь. Хрипела старая гармонь, косячок сухих листьев шелестел под ногами танцующих, забивался в жёсткую траву.

Увидев приезжего под руку с Санькой Агарковой, гармонист заиграл вальс. К Масленникову подошла круглолицая девушка, и они единственной парой закружились на полянке.

Поглядывая на Саньку, Андрей прижимал к себе партнёршу осторожно, как обряженную ёлочку.

Гармонист вальс оборвал, заиграл «Барыню». Вмиг в кругу стало тесно. Девчата, повизгивая, закружили подолами. Парни шваркнули кепки оземь, пошли вприсядку. Они рвали влажную землю кованными каблуками, выкручивали с корнями траву в замысловатой лихости плясовых коленцев. А когда утёрли мокрые лбы, гармонист заиграл новую мелодию.

Санька потянула Масленникова в круг. Её пальцы больно впились ему в плечо, она вся прижалась к нему, плоско и сильно, слегка повиснув на нём. Сказала тихо с обидой и угрозой:

– Не смей, слышишь, не смей танцевать с другими.

Андрей улыбнулся.

Прощались в темноте возле её дома. Чтобы оторваться от желанного и покорного тела, Масленников втянул в себя холодную струйку воздуха, сложив губы трубочкой, потом судорожно хватнул его, словно муху хотел схватить на лету, как щенок, лязгнув при этом зубами.

Отдышался и прохрипел:

– Ну, я пошёл.

– До завтра, милый.

Его поджидали. От плетня отделилась тёмная фигура и молча бросилась на Масленникова. Защищаясь, Андрей ткнул противника локтём в лицо. Удар получился хрясткий. Нападавший упал, отплёвываясь и матерясь.

Масленникова тут же окружили парни, чуть ли не все, кого он видел на гулянке. Страх стальной рукой схватил его душу, замутил сознание. Они сейчас забьют его до смерти. Холодный пот шибанул по всему телу. Машинально он сунул руку в карман в поисках носового платка, и вся компания дружно отпрянула.

– Берегись, робя, шас палить учнёт!

Масленников овладел собой и обстановкой:

– Идите парни по домам. Я вас не видел, вы – меня. Будем считать, шутка не удалась.

И лежащему:

– Ты как, сам идти сможешь?

Тот поднялся, отхаркиваясь, размазывая по щекам кровь:

– Псих, ты мне носапёрку сломал.

– Ну, прости друг, бывает. Главное, чтоб до свадьбы зажило.

Парни гурьбой пошли прочь, а у Андрея ещё долго не унималась дрожь в ногах.

До полудня следующего дня Масленников принимал от мужиков заявления в колхоз, писал таковые за безграмотных. Приметил, что к Извекову с такой просьбой никто не обратился.

Эге, брат, да не любят тебя на хуторе-то. Как председательствовать будешь?.

И почему-то в памяти сразу всплыло кирпичное лицо Авдея Кутепова.

С теми, кто не спешил в колхоз, решил побеседовать лично.

Фёдор Агарков под навесом строгал доски. Отряхнув стружки, свернул и закурил самокрутку – смотрел на визитёра долго, дремотно, будто отдыхая взглядом на дураке.

– Рабочий лучше мужика живёт – времени больше свободного. Для того и создаются партией колхозы, чтобы уравнивать труд в городе и селе. Отработал смену в поле иль на ферме – отдыхай культурно, развлекайся. А у частника, ну что за жизнь? Утром он в делах, днём в работе, вечером в заботе....

– А ночью? – почти не разжимая губ, спросил Фёдор.

– А ночью пьёт и бабу бьёт.

Самоуверенность оседлала Масленникова, как ощущение грузной, но полезной ноши. Он глубоко затянулся напоследок, затоптал окурочек и уселся на колодину.

Агарков усмехнулся. Усмешка скользнула по губам и спряталась в глазах.

Скрипнула калитка, вошёл Иван Духонин.

– У тебя гости, Кузьмич? Не вовремя я. В другой раз...

Руки будто бы назад потянулись калитку отворить, а ноги уж несли его под навес.

– Теперь как, товарищ дорогой, кто в колхоз не войдёт, тех под корень топором?

– Откуда вы такие? – Масленников pokrutil головой, отвечая Ивану и поглядывая на Фёдора, – Из какого тёмного болота? Нечто не уяснили, что для вас всё делается, в ваших интересах.

– Может это и так, только не хочется мне на Авдюшку Кутепова работать – не радеть он, горлохват и проныра. Высунуться хочет, а соображений ни на грош.

– Ну, почему Кутепов? – смутился Масленников. – Не люб – избирайте другого.

– У нас половина хутора Кутеповых и степенных ни одного, все ёрные, как Авдюшка.

– Задохнётся он от своей жадности в колхозе, – сказал Федор и взялся за рубанок. –

Посинеет и зенки на дармовщину повылазят.

На другом конце хутора шёл иной разговор.

– Думаю, он её только щупал, – делился своими сомнениями с Дмитрием Малютиным Авдей Кутепов.

– Нет-нет, – увещевал тот, – Он её на десяток годов постарше – неужто не уговорит? Да и девка порченная, что ей терять?

Будто устыдившись, продолжил:

– Безотцовщина, чего ты хочешь? Думаешь, Тимофеевне легко их одной тянуть. Ты вон сколько раз в день в чугуи со щами заглядываешь? Не считал? А у них и такого не бывает.

– Будто бы. Ври больше. Даст им Фёдор голодать – как вол пашет. Поди, гусятину с бараниной почаще нас с тобой лопают. Санька вон, как краля наряжается. С каких щей?

– Санька – девка правильная, в корень смотрит и любовь зрит. Я вот мекаю, нет ей на хуторе жениха. Так что уполномоченный – это самое то, и Санька его не упустит.

– Ну, поглядим-посмотрим – крючок он заглотил, теперь ба не сорвался...

Широколобая, тяжёленькая и крепкая, с веснушками на щёчках возле носика, со светлыми кудряшками и тёмными ресничками двухлетняя дочка Леночка забавлялась у Фёдора на коленях.

– Смешно дураку, что рот на боку, – ругала Матрёна только что ушедшего Ивана Духонина. Взглянула на мужа, и нижняя губа её задрожала, потянулась к побелевшему кончику носа, но не заплакала, а, пересилив себя, спросила певучим грудным голосом:

– Ты что ж, решил покориться? Только знай, в колхоз ваш я не пойду. Возьму Леночку, и... куда глаза глядят.

Фёдор хохотнул, как прокашлялся:

– Пронырливый парень, этот уполномоченный. Не смотри, что весу в нём с барана, дерьма может навалить на целое стадо, – и задумался, оставив жену одну с её сомнениями и переживаниями.

Масленников в ту минуту шагал к Борису Извекову, думал о Фёдоре и завидовал ему, его красивой жене, трудовой, спокойной и обустроенной жизни. Вспоминал свою.

Отец у него был добрым, мягким, пьющим человеком. Мать – сварливая, хвастливая, захлёбывающаяся в своих бесконечных и бессвязных скороговорках, причитаниях и всхлипах. И никто никогда не мог понять, о чём она плачет. Лишь только открывала рот, она тут же начинала давиться словами, рыданиями и ещё чёрте чем. Отец умер однажды, не дослушав её брани. Сестра его, приехавшая на похороны, покачала головой:

– Любимцы богов умирают молодыми.

И с тех пор Андрей, подмечая в себе материнскую разносистость, не пытался сдерживаться, боясь быть похожим на отца...

– Санька, – укоряла Наталья Тимофеевна дочь, – Был бы жив отец, как бы он посмотрел на тебя, беспутную?

– Если бы он был жив, я бы с приданым была, и забот о женихах не было. А теперь кто меня с голым задом посватает? Такой же беспартошный, чтобы всю жизнь спину гнуть и сдохнуть в землянке.

– Что же ты всё со стариками вяжешься? Ведь обманут.

– Молодые-то на эти дела проворнее. А приезжий и не старый вовсе, только серьёзный очень. С собой звал. Вот возьму и уеду....

К непогоде, должно быть, разыгрался ревматизм у Бориса Извекова в прострелянных ногах. Управившись по хозяйству, он залез под стёганное одеяло и молча страдал. Андрей Масленников, завершив свой обход по хутору, шумно ужинал с Варварой Фёдоровной.

Разговор коснулся семьи Агаповых.

– Странное дело, у такого тёмного типа такая развесёлая и понятливая сестра. А что, хозяйюшка, ежели вас сватьей попрошу быть – пойдёте Александру сватать?

Тупая боль в конечностях захлестнула голову и превратилась в лёд. Борис поднялся с кровати и двинулся на гостя, больной, серый, с округлёнными, остановившимися глазами и вздутой шеей.

– Повтори! – прохрипел он.

Андрей Масленников попятился от него, окаменев лицом, одинаково готовым и к улыбке, и к гримасе ярости.

Ещё владела собой Варвара Фёдоровна.

– Да вы что, сынки, нашли из-за кого петушиться. Да она – дурёха деревенская и тебе не пара, Боря.

И вдруг поняла, что ляпнула что-то такое, что могло не понравиться уполномоченному. Тот смерил её яростным взглядом. Борис взял со стола кухонный нож. Варвара Фёдоровна, взвизгнула и откинулась на стену в обморок, забыв закрыть глаза.

– Что у вас было? – Борис еле шевелил онемевшими губами. – Впрочем, если ты сейчас скажешь хоть слово о ней, я тебя убью. Лучше уходи.

Андрей выскочил из-за стола, привычно сунул руку в карман брюк:

– Остынь, мужик.

И более спокойно и твёрдо сказал:

– Тут всё в порядке – она уедет со мной. Мы так решили, а ты, видать, не только на ноги – на голову больной. Убери нож, я сейчас соберусь и уйду.

Ссора с Борисом Извековым расстроила Масленникова, расстроила и его планы.

Каков Отелло! Псих недостреленный! Нужна новая кандидатура в председатели, это было ясно. Вновь из глубин сознания всплыл кирпичный облик Авдея Кутепова. Вот ведь паук – оплёл Андрея сетью интриг. Всё-всё тонко рассчитал. Поссорил его с Извековым, тем самым кандидатом в председатели колхоза, которого рекомендовал райком. Спутал с Александрой, сестрой кулака Фёдора Агаркова. И теперь, как не крути, он и есть единственный кандидат в председатели, которого, впрочем, и без рекомендаций здесь изберут большинством голосов. Станет он председателем и Андреем Масленниковым, инструктором райкома, вертеть будет как пешкой, потому как очень много про него знает такого, что партией не прощается. Хотелось выть и кусать локти. Но должен быть выход. Думай, Андрей, думай.

Идти было некуда, и ноги привели его на гулянку.

На знакомой полянке уже толпилась молодёжь. Парни гурьбой курили, с опаской покосились на приезжего. Девчата, поджидая гармониста, разучивали какой-то модный танец. Александры Агарковой не было. Андрей развязно подошёл к девушкам.

– Дарю, – прикрепил на кофточку одной из них раскалённый лист осины, ощутив под пальцами упругость груди.

Из девичьих глаз брызнули фонтаны ликования.

– Научите, – попросил он.

– Давайте.

Девчатам нравились его смелость и обходительность. Взяли уполномоченного с двух сторон за руки. Одаренная им сказала:

– Парами не обязательно. Два нажима на одну ногу с припаданием, – Она показала. – Можно вперёд, назад, с поворотами. И за руки держаться не обязательно. Начали.

Движения оказались лёгкими, похожими на игру. Были в этом танце свобода, веселье, азарт.

Показалась Санька. Андрей помахал ей рукой. Девушка рядом потупилась, чтобы скрыть укор и зависть, самовозгорающуюся в её глазах, и поджала губы. Масленников сильнее пошёл ногами, и правой, и левой, и с поворотами, топнув и хлопнув себя по бёдрам, замер перед Санькой.

– Во как!

Дни стояли ещё тёплые, но земля уже остыла, а ночи начинались и заканчивались туманами, которые выползали из глубины леса. В тот вечер небо обложило хутор мелким, нудным, моросящим дождём. Андрей завлёл Саньку к кособокому дому Авдея Кутепова.

– Ну, нельзя нам в избу, пойми Авдей Спиридоныч, – шептал Масленников хозяину, оглядываясь на Саньку. – Не расписаны мы, слухи пойдут. Ну, как в районе узнают. Ты и сам того, языком-то не очень.

– Могила, – сказал Авдей, провожая гостей в малуху.

– Ты не думай, я не вертопрах какой. С Александрой у нас будет всё честь по чести, а ты будешь посаженным отцом на свадьбе.

– Рад за вас, молодых. И свадьбе буду рад.

Ушёл, вернулся с керосиновой лампой, закусками на тарелке, прикрытой полотенцем. – Отдыхайте.

В малухе было тепло и сухо. Андрей потянул Саньку на широкую кровать.

– Нет-нет, мне нельзя, – смутилась девушка. – Я лучше пойду. Проводишь?

– Что сегодня с тобой? – расстроился Масленников.

– Я теперь больная.

– Вот так новости! – растерялся он и отступил. Вдруг догадался. – Дура! Так бы и говорила – больная по-женски. Ну, хорошо, айда так полежим.

Он прибавил в лампе огня и затянул Саньку на кровать.

У неё были ровные белые зубы, припухлые губы, мохнатые детские ресницы и серые, чуть насмешливые, глаза.

– Меня, Шурочка, на вашем хуторе уж дважды пытались убить.

– Ой! Да ты что? – она подняла голову, подперев её рукой. Другая рука нежными пальцами гладила его шею.

– Вчера кавалеры твои, а сегодня Борис Извеков, твой контуженный на голову воздыхатель. Но, видишь, я жив. Умереть легко. Перестань дышать и лежи спокойненько.

Он смотрел на Саньку задумчиво и вдохновенно.

– А вот жить для дела, жить и бороться вопреки всему – это всегда тяжело. Не бойся – живи!

Он обнял её тёплые плечи, притянул к себе. Целуя, пытался запустить руку под подол, расстегнуть на груди кофточку, но Санька после упоминания о Борисе Извекове построжала, каждый раз останавливала его и смотрела не то чтобы с упреком, но как-то неодобрительно.

– Что ты, милая, жмёшься?

На улице моросил всё тот же нудный дождь, и хлюпала под ногами размокшая земля.

Прощаясь у её дома, Андрей выдохнул Саньке в лицо:

– Ох, и будет у меня хлопот с твоим братцем.

Семья у Авдея Кутепова оказалась многочисленной – где только прятал прежде? Пригласив уполномоченного завтракать, хозяин сел во главу стола, обвёл домочадцев строгим взглядом, произнёс глухо:

– С Богом!

Андрей вдруг почувствовал, что прежнего подбострастия перед ним у Авдея уже нет. От этого тревожно засосало под ложечкой.

Санька Агаркова с утра не находила себе места, на каждый стук и бряк вздрагивала, оборачивалась к двери или бросалась к окну – кто идёт? К полудню страх и обида переполняли душу – обманул! Не развеселила и случайно подслушанная сцена.

Заглянул соседский парнишка.

– Мишка! – Нюрка, младшая сестра, потащила его в чулан. – Молодец! Здорово, что ты пришёл. Знаешь, почему здорово? Потому что мы с тобой ещё не целовались. Последнее время меня стало тянуть целоваться. Я почти со всеми мальчишками перецеловалась, один ты остался. – И снова ткнула кулачком мальчишку поддых.

Тот охнул и сдался.

Мишкина мать, перехватив Наталью Тимофеевну у колодца, жаловалась:

– Как я измучилась! Мой-то вбил себе в голову и твердит: бросим всё – уедем на юг. А не поедешь, грит, один умоваю. Это, Тимофеевна, твой сын его подбивает.

– Причём тут Федя? Ты Ивана в коротком поводке держишь, вот он и взбрыкивает. А не зря люди говорят – привязывай козла на длинную верёвку, не то вместе с колом убежит. А мой сын не ходит чужими дорогами, за это я им и горжусь.

– Да кабы знать, которые наши-то, – ответила Марья Духонина усталым, охрипшим от ругани голосом. Взор её уходил в запредельную даль.

– Я думаю, – сказала она, – если скромно, не выпячиваясь, работать, то и в колхозу можно жить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.